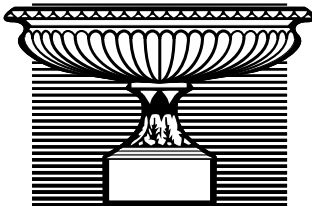


# АЛТАЙ

3/2021



Дёмкина Екатерина Викторовна



**Окраина Суздаля. 2008**

Холст, масло. 98x110

Издается с 1947 г.

# А Л Т А И



АВГУСТ

3/2021

*литературно-художественный  
публицистический  
культурно-просветительский  
журнал*

16+

**ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»**  
**№ 3, 2021**

*Редакционный совет:*

Безрукова Е. Е. (председатель совета)  
Вигандт Л. А. (главный редактор)  
Габдраупова Ф. А. (Барнаул)  
Дмитриев А. В. (г. Доброполье,  
Донецкая область)  
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)  
Кирилин А. В. (Барнаул)  
Клишина Е. М. (Барнаул)  
Колокольников С. В. (редактор отдела прозы  
и публицистики)  
Котеленец В. С. (редактор отдела поэзии)  
Кудимова М. В. (Москва)  
Малыгина А. С. (Барнаул)  
Николенко Н. Г. (Барнаул)  
Пономарёв П. В. (редактор отдела прозы  
и публицистики)  
Филатов С. В. (Бийск)  
Чернышков Д. В. (Бийск)

*Учредитель журнала:*

Краевое государственное  
бюджетное учреждение  
«Алтайская краевая  
универсальная научная  
библиотека  
имени В. Я. Шишкова»

*Адрес редакции и издателя:*

656038, Алтайский край,  
г. Барнаул,  
ул. Молодежная, д. 5,  
тел.: (3852) 506-628,  
e-mail: altai-journal@mail.ru

*Верстка:*

Четырина Н. П.

*Корректор:*

Берглизова Т. П.

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.08.2021. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ». 644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34. Тел.: 8 (3812) 25-02-37, 212-111. E-mail: obi@ya.ru

*Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.*

*Рукописи не рецензируются и не возвращаются.*

*За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.*

*Их мнение может не совпадать с точкой зрения редакции.*

*При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.*



# СОДЕРЖАНИЕ

## Проза

Михаил Коновальчук. А. V. E. СУМАТРА. Роман в письмах, стихах и примечаниях.....	5
Владислав Попов. Токна. Рассказ.....	64

## Поэзия

Валерий Дашкевич. «Где родился — там не пригодился...». «В черепа ступе вращая анапеста пест...». «У нас не до романтики — драконы...». «Я ль не преинался о законы...». «Стали годы, словно дни, короткими...». «Скоро мы все разойдёмся по разным углам и допишем, что сможем...». «...от безысходности кутаясь в чувство вины...». «Как сошёл на землю, разом всё позабыл...». «Парикмахер, раскудри твою мать...». «И вновь, и вновь любовь рифмую с болью...». «От любимых повеяло холодом...». «Не важно, кто с тобою спит...». «Как ходили с тобою по краю...».....	44
Нина Орлова (Маркграф). Алтайский цикл.....	54
Андрей Пермяков. 1984. Про ожидание. К дождю. О тенях. Об успокоении. Контакт. На первой базе. Жалко. Ветряные театры. Тщета. «Вроде ещё разбег...».....	78
Галина Колесникова. Отпели метели.....	87

## Лучшие биографии

Наталья Лясковская. Лесков. Глава 3. Панин Хутор. Продолжение. Начало в №№ 1, 2.....	90
--	----

## Литературный семинар

17–19 июля 2021 г. Село Красилово Косихинского района Алтайского края

Анатолий Кирилин. Дети племени. Вступительное слово.....	101
Надежда Келарева. «Сколько шагов до квартиры...». «Было только радио...». «Катя исследует архитектуру храмов...». РодоСловная. Памяти Егора	

Летова. «Зимой внезапно вспомнишь крики чаек...». «Припекает июльским солнцем...». <i>Стихи</i> .....	105
<b>Екатерина Монахова.</b> Дитя племени. <i>Рассказ</i> .....	110
<b>Денис Попов.</b> «Ни с того ни с сего поутру...». «Снег ложится, как пепел на столик...». Глаза. Хожение за три горя. «Точно много лет назад...». <i>Стихи</i> .....	30
<b>Дмитрий Дергалов.</b> Поколение застенчивых. Свидетель. Художник. Слезы. Как ты. <i>Стихи</i> .....	134
<b>Евгения Гармс.</b> Депрессия зимы. Жемчужная сережка. <i>Рассказы</i> .....	138
<b>Анна Мамаенко.</b> Придуманная звезда. Сон Каиафы. «Меловые холмы...». Странный маленький зверёк. Дон Кихот и его команда. <i>Стихи</i> .....	147

## Памяти В. Я. Курбатова

<b>Юрий Кабанков.</b> «Души спасенных во тьму не глядят» <i>Переписка В. Я. Курбатова и Ю. Н. Кабанкова. Продолжение.</i> <i>Начало в № 2, 2021</i> .....	152
---	-----

## Краеведение

<b>Алевтина Гусева.</b> Жизнь — подвиг.....	170
Воспоминания, написанные в 1967 г. первой машинисткой Совдепа г. Барнаула Евгенией Кондратьевой ( <i>Подготовка к печати Владимир Терёшкин. Научный комментарий Данил Дегтярев</i> ) .....	190

## Михаил Коновальчук

Родился в рабочем поселке Заринский Алтайского края, служил в ВМФ, работал грузчиком, формовщиком, литейщиком, журналистом, редактором. Кинорежиссер, сценарист. Автор фильмов «День Ангела», «Духов День» и др. Член Союза кинематографистов России. Живет в Москве.



## А. В. Е. С У М А Т Р А<sup>1</sup>

### роман в письмах, стихах и примечаниях

*Жизнь напоминает мне не что иное, как лоскутное одеяло,  
сшитое из разноцветных кусочков.  
Ортега-и-Гассет «Эстетика в трамвае»*

### Предисловие

Основой этого не совсем обычного полудокументального романа-эссе стали письма и стихи ныне известного легендарного поэта Х. Назову его Фомой Х., потому как ни одно из этих юношеских стихотворений не было опубликовано, они не известны никому, даже автор о них забыл, а письма, естественно, никто не читал, так как они адресованы мне, автору этого

---

<sup>1</sup> Первую публикацию осуществил литературный альманах «Глаголь» (Париж), 2021, № 13

правдивого повествования. Письма перемежались стихами, а стихи — бытовыми подробностями. Трудно догадаться по текстам, что эти стихи принадлежат Фоме Х. еще и потому, что та обстановка, тот уровень культуры и осведомленности, круг интересов автора, юноши из сибирского рабочего поселка, кажется, и не предполагали возникновения будущего культового поэта. Вся эта переписка происходила в течение семи-восьми лет, началась со школьных времен, когда нам было по четырнадцать-пятнадцать, с издания рукописного самиздатского журнала «Суматра» (№ 1 в 1966 году, за ним следовали другие номера, частично утерянные). Хотя слова «самиздат» мы и не знали («Хроника текущих событий» вышла годом позже), была просто потребность в таком предприятии. Мы же подражали авторам и литературным героям, не совсем отделяя авторов от их персонажей.

Переписка продолжилась во времени во все годы наших скитаний, вплоть до исчезновения в ней необходимости. Во время переписки мы сами становились персонажами того или другого литературного произведения и неимоверно подражали ему как в жизни, так и в стилистике писем. Все эти тексты — свидетельства давно ушедшей эпохи, причем для нас серой и невнятной, которая теперь кажется милой, а тогда — беспросветным и унылым прозябанием в рабочем поселке, вдалеке от того, что нам казалось «большой жизнью» и куда мы вскоре отчаянно устремились. А дальше были рабочие общаги, бараки, гостиницы, палатки, казармы, кубрики, съемные квартиры. Все вещи и книги помещались в одном рюкзаке, там же — письма и записные книжки. Многие не сохранились, стихи потеряны, а все, что есть, оказалось у меня почти случайно, словно «рукопись, найденная в сундуке». Они чудом нашлись в небольшой потрепанной папке, сохраненные моей матерью, и я их извлекаю в приблизительной последовательности. Читать такие письма — это как смотреть кино на старой выцветшей пленке, местами поцарапанной, склеенной как попало в местах порыва нерадивым кинщиком, смотришь, словно стоя на ходовом мостике, вглядываешься в далекий туманный берег, угадывая за смутными очертаниями знакомые места. Кому как, но я люблю смотреть старое кино. Есть люди, которые живут здесь и сейчас, а есть живущие вчера, сегодня и вечно. Вторые мне нравятся больше.

«Лоскутное одеяло» повествования грубо, на живую нитку сшито из разновеликих текстов. Это:

1. подлинные письма Х. (Фомы), носящие дневниковый характер, где он обращается к автору на «Вы», как к персонажу, и пишет, пожалуй, их скорей сам себе, а адресат ему нужен как собеседник, который умеет слушать, правильно слушать, с пониманием. И сам Фома предстает в этих текстах как персонаж, меняя личины, то кривляясь, то принимая суровые позы юродивого и бахнутого обличителя, то проповедника, а то человека, искренне не понимающего окружающую действительность, доводящую его до мыслей о суициде;

2. стихи, которые попадают и в тексте писем, и просто приложены к письму — никому не известные стихи, полностью забытые автором и друзьями. Почти все они предназначались к публикации в очередном — втором, третьем и четвертом (утраченных) номерах нашего рукописного самиздатского «нерегулярного литературно-художественного журнала “Sumatra”» («Суматра»). Количества этих текстов хватило бы на толстый томик стихов. Если бы такой томик вышел в свое время (1966–1974 годы), то Фома Х. еще до поступления в Литинститут и первых публикаций стал бы знаменитым русским лирическим поэтом. Дело в том, что спустя некоторое время Фома охладел к своему раннему творчеству, а одну из тетрадей («Желтая тетрадь») просто выбросил на помойку на моих глазах. И я, автор этого правдивого повествования, голубоглазый блондин высокого роста, полез в мусорный бак и достал ее. Фома хмыкнул иронично и вопросительно, а я злобно ответил, что лет через десять–двадцать, когда он станет достаточно знаменит, я их опубликую под другим именем, например Фома Х. Фома же на эту угрозу только глумливо рассмеялся в мое честное открытое лицо. Теперь, будучи человеком последовательным, я это обещание выполняю. Это часть стихов, остальные сохранились в письмах и в приложении к ним;

3. историческая справка. Параллельно нашей жизни шла другая жизнь и в СССР, и в мире. Об этих событиях мы мало что знали, так как та жизнь протекала совсем в другом измерении и в другой среде. Потому в тексте повествования приводятся отдельные даты;

4. некоторые примечания от лица автора этого ироничного повествования, скрывающегося под разными личинами, —

то полного отморозка Чёрного, то молодого писателя, то военного журналиста, а то и Чики, отвязного Чикиндролита, солдата удачи, служившего на Чёрном континенте. В повествовании использована часть этих текстов из давних записных книжек под названием «Фома. Инвалид детства» уже в машинописном виде, перепечатанных и предназначенных для публикации в том же журнале «Sumatra» для небольшого круга друзей. Проводя литературные параллели, Фома все это называл «Коноваль-Чукокал».

## Часть 1. ШКОЛА (р. п. Заринский. 1967 г.)

### События в мире. Историческая справка

1967 год — лучший год в поп-музыке. Действительно, в этом году «Биттлз» выпускает «Сержанта Пеппера», Джими Хендрикс дарит миру альбом «Are You Experienced?», «Пинк Флойд» покоряет Америку. А в Советском Союзе женщины сходят с ума от американского красавчика с гитарой Дина Риды, мужчины — от мини-юбок, молодежь — от ливерпульской четверки. Все танцуют твист и ходят в кино, преимущественно на комедии. Особенно популярны Наталья Варлей из «Кавказской пленницы» и Олег Стриженов, сыгравший лишенного всяческих чувств робота в картине «Его звали Роберт». В Израиле начинается и заканчивается Шестидневная война, председателем КГБ назначен Юрий Андропов, а суббота стала выходным днем.

9 октября 1967 года в Боливии убит латиноамериканский революционер, коммунист, команданте Кубинской революции Эрнесто Че Гевара.

12 октября 1967 года вышел закон «О всеобщей воинской обязанности».

«Все мужчины — граждане СССР обязаны проходить военную службу».

3 ноября 1967 года был пущен в эксплуатацию первый агрегат Красноярской ГЭС — первой электростанции на реке Енисей, которая входит в десятку крупнейших ГЭС мира.

4 ноября 1967 года в Москве начал вещание Останкинский телецентр с антенной башней высотой 533,3 метра.

Но все это происходило словно на другой планете.

Это было много лет назад, как покажется кому-то, а я скажу: нет, не много, это было вчера, или это было в прошлом году, есть много способов отсчета времени от секунды до часа, от часа до года, от года до века. И все это происходит одновременно, времени как бы нет, есть только необозримое будущее.

\*\*\*

Электрический ветер завязан пустыми узлами,  
и на красной земле, если срезать поверхностный слой,  
корабельные сосны привинчены снизу болтами  
с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.  
И как только в окне два ряда отштампованных ёлок пролетят,  
я увижу: у речки на правом боку  
в непролазной грязи шевелится рабочий посёлок  
и кирпичный заводик с малюсенькой дыркой в боку.  
Что с того, что я не был там только одиннадцать лет.  
У дороги осенний лесок так же чист и подробен.  
В нём осталась дыра на том месте, где Колька Жадобин  
у ночного костра мне отлил из свинца пистолет.  
Я там умер вчера. И до ужаса слышно мне было,  
как по твёрдой дороге рабочая лошадь прошла,  
и я слышал, как в ней, когда в гору она заходила,  
лошадиная сила вращалась, как бензопила.

Именно в непролазной грязи шевелился рабочий посёлок (р. п. Заринский<sup>2</sup>), а через дыру в боку кирпичного заводика мы проникали на свалку металлолома. А зачем нам свалка? Правильно, чтобы найти медные трубочки. А зачем нам медные трубочки? Правильно, чтобы сделать пистолет, именно пистолет, а не пугач,

---

<sup>2</sup> В 1979 году сорокинский район переименован в Заринский, административный центр перенесен в Заринск (бывший р. п. Заринский).

такой, чтобы к нему подходили патроны от мелкокалиберки. А всякие патроны продавались в охотничьем магазине, там продавался и порох, и капсюля, и пыжи, и одностволки, и все то, что нам было крайне необходимо в возрасте четырнадцати лет.

### **Весна на Заринской улице. Из кино**

В результате прихода весны,  
в результате гудка парохода  
изменились системы подхода  
к тем материям, что не слышны.  
В оглушённом объёме реки  
и в параллелепипедах зданий,  
а систему домашних заданий  
заменяли кормленьем с руки.  
И на пол перейдя со стены,  
так легко, как с катода к аноду,  
длилась закономерно погода,  
изменив освещенье комода  
и его допотопные сны.  
И рассчитанным точно толчком,  
как ударом бильярдного шара,  
всё сместилось,  
и выплыл закон,  
что довольно глазеть из окон  
или сопровождаться хлопком  
отлетанию шариков пара.

Когда человек рожден, растет и вырастает в том минимуме, в котором мы росли с приятелями, как и все наши сверстники, чуть лучше, чуть хуже, но предельно просто, то весь остальной мир кажется сказкой, в нее принято верить, но она никак себя не проявляет, разве только в редких просмотренных фильмах, да в прочитанных книгах. А вырастая, он соотносится с окружающими персонажами его детства и, сравнивая, соотнося себя с ними, начинает определять свое место в этом небольшом мире, а затем уж примеряет его к другим мирам, в том числе иным...



А были еще радиоточки, никогда не выключающийся радиоприемник, нет, не с антенной, а подключенный к специально проведенным проводам, которые тянулись по столбам ниже электрических. С внешним миром мы были связаны именно так: радиоточка, книги, редкое кино. Остальная информация доходила в виде устных рассказов, анекдотов, мифов и легенд. Из этих апокрифов и складывалось представление не только о внешнем мире, но и об истории, о войне, географии, о правильных поступках, о героизме, врагах, родине, любви, сексе, преступлениях и обо всем том, что нас не касалось в нашей обыденной жизни.

\*\*\*

Быть может, я себя всю жизнь обманывал,  
упрятав свою душу под засов.  
Быть может, непроглядными туманами  
прикован я к бездонию лесов.  
И пусть мне имя дали ночью зимнею,  
когда я в жизнь входил, как в новый кадр,  
в лесу я просто человек без имени  
и никакой совсем не Александр.  
Но пусть тогда меня простят луга,  
леса и травы в мимолетных росах  
за то, что я им очень долго лгал.  
Пускай простят. Ведь я же не нарочно.

Хотя кино нас не увлекло, его просто почти не было, до нас доходили те фильмы, которые кто-то отправлял в самые беспросветные районы. А какие, до сих пор вспомнить не могу, тем более мы с приятелями имели обыкновение войти в зал, посмотреть первую часть и, пока перезаряжалась вторая, так как аппарат был один, включался свет, хм, рекламная пауза, когда пацаны швыряли друг в друга шапками, обменивались щелбанами и подзатыльниками, мы покидали зал, не приобщившись к киноискусству. (Хотя в это время в стране где-то были сделаны фильмы, оставившие след в истории кино: «Свадьба в Малиновке», «Интервенция», «В огне брода нет», «Седьмая пуля», «Ася Клячина».) Это смотрели уже спустя несколько лет...

Кино долго оставалось для нас загадкой, вернее, кино для нас не существовало, кроме некоторых отдельных фильмов: военных, затем, кажется, «Гений дзюдо», индийских фильмов, от которых воротило, ни один из них не остался в памяти, так как, лишь выключался свет, в темноте ярче экрана светились коленки подружек, их руки с тонкими пальчиками, их прекрасные светлые лица с сияющими глазами, устремленными на экран.

Годам к четырнадцати мы начали как-то самоопределяться, приобретать, вернее, выявлять те черты, которые присущи только тебе одному, и сравнивать их с ровесниками, со взрослыми, родителями, соседями, девочками, девушками, женщинами. А это дело нелегкое — соотноситься, соприкасаться с другими людьми, потому в этом возрасте все так напряжены и агрессивны, идет защита самого себя порой от самого себя.

\*\*\*

*Сестре Т.*

Пустынна ночь. И ночь светла.  
И нужно жить светло и сложно,  
чтобы возможность в невозможность,  
чтоб правда в ложь не перешла.  
А мысль о лёгкости — как мыс,  
где ветром выжженные травы,  
и мы сейчас уже не вправе  
драпироваться в эту мысль.  
Она мне с лёгкостью далась,  
но наслажденье есть иное:  
чтоб ощущать вот эту власть  
ежеминутно над собою.  
Вот эту связь со всем живым и  
неживым, и очень дальним,  
со всем забытым и недавним,  
и с тем, что будет впереди.  
Я не себе принадлежу,  
и снова, снова вечер каждый  
я всё боюсь, что очень важный

какой-то вечер прогляжу.  
Как мне сейчас... Вопрос не в том.  
Мне может быть светло и плохо.  
Но я ни выдохом, ни вдохом  
не ограничу тот объём,  
где мы вдвоём, где полумгла  
нас поучает осторожно,  
чтобы возможность в невозможность,  
чтоб правда в ложь не перешла.

**1966 год. Журнал «SUMATRA»  
(«СУМАТРА<sup>3</sup>» № 1)**

Идея издания собственного журнала возникла естественным образом, так как мы в свои четырнадцать лет мнили себя не только литературными персонажами, но и крупными деятелями литературы. Это был у нас самодеятельный театр для самих себя и окружающих. Началось все с издания газеты, стенгазеты, но не санкционированной, а такой, какую хотели мы. Мы ее издали, со стихами и рисунками, шутками и эпиграммами. Это был вызов и выпендрей. Результат оказался неожиданным, ее сорвал со стены сам директор школы, Малышев, пришел в ярость и вызвал нас к себе в кабинет. Тут я оказался главным ответчиком, и он достаточно убедительно пояснил, что такого рода самоуправство есть не что иное, как караемый законом «самиздат». Знать мы не знали и не хотели об этом. Персонально автора этих строк он справедливо обвинял в хулиганстве, отрицании роли комсомола, а может даже партии. Вот до таких политических претензий нам было очень далеко. Нам

---

<sup>3</sup> Сумáтра, индон. Sumatra, малайск. Sumatera, ачех. Ruja, Sumatra — остров в западной части малайского архипелага, в группе Больших Зондских островов, с прилегающими малыми островами. Является частью Индонезии. Суматра — шестой по величине остров в мире. Название острова происходит от санскритского слова samudra — «океан», или «море».

ведь было глубоко (далеко) на это плевать. Складывалась ситуация, когда наивные шалости именовали взрослыми намерениями. (Директор, Малышев А. А., прибыл из славного города Ленинграда при совершенно загадочных обстоятельствах. Он был человеком совсем не похожим ни на кого. Седой красавец с военной выправкой, приятной упитанностью, благородными манерами. Симпатичный человек с хорошей домашней библиотекой.) Из школы нас не выгнали, дело спустили на тормозах. Но тем не менее страсть к издательству нас не покинула, и вскоре мы стали готовиться к ее реализации. Но не было денег на фотоаппарат — какой журнал без иллюстраций? Уже было придумано название «Суматра», литературно-художественный журнал с иллюстрациями и фотографиями. Следовательно, нужен фотоаппарат! Потребовались деньги, и их нужно было заработать...

...добрый человек, кажется, по профессии прораб, Виктор Емельянович, отец приятеля Фомы, подбросил нам работу. Нужно было разгрузить железнодорожную платформу с кирпичом, это стоило 25 рублей (за срочность!). Стояло жаркое лето тысяча девятьсот шестьдесят лохматого года, нам с товарищем по четырнадцать лет. Я-то был достаточно физически развитым парнишкой, в отличие от приятеля Фомы, но дух его был поистине титаническим. Разгрузив только половину платформы, съев хлеба с салом, мы тут же почувствовали, что смертушка подглядывает за нами из-за каждого куста, из-за каждого вагона в тупике, где происходила срочная разгрузка строительных грузов. «Но в нем томительный недуг развил тогда могучий дух его отцов, без жалоб он...» Дальнейшая разгрузка была страшной каторжной работой. Приятель буквально ползком подтаскивал кирпичи, а когда оставалась их всего пара сотен, он просто упал и только шевелил ногами и руками, словно продолжая работу. Неимоверными усилиями, не помня себя, я выбросил последнюю сотню кирпичей. Рукавицы, брезентовые «верхонки», стерлись в лохмотья, и руки у меня, как у палача, были в крови. Я вытер их о штаны и взял ими те 25 рублей у довольного нашей работой прораба, ради которых мы ломались. Теперь фотоаппарат, «Смена-8», будет! И он стал у нас, хотя и пришлось ехать за ним в Барнаул. Вскоре мы приступили к созданию своего журнала под названием «Суматра».

Ну, а как еще назвать? Суматра — это далеко, это в каких-то загадочных эбэнях, а там все не так, там классно, Суматра — это мечта. Несбыточная и далекая.

И вот я, лирический герой этого правдивого повествования, открываю старый потертый дипломатический портфель и извлекаю из него чудом сохранившийся рукописный журнал. Он потрепан, он даже снимался в документальном фильме Коли Макарова о поэтах-метафористах, но листы его несколько не пожелтели, он выглядит, словно мы его сделали поза-позавчера. Только он уменьшился в исторической перспективе, подтвердив миф о шагреновой коже.

Первый раздел: «Поэзия», в качестве дебютанта мы представляем Ивана Безена (ударение на первый слог), на самом деле Ваньку Безенчука, которого мы заставили написать стихи, убедив его, что он может стать поэтом, потому что у него нос, как у Ахматовой. Стихи никакие, но много, есть куда расти. Вырос в приличного ударника-экскаваторщика, отца пятерых детей.

Следующий тоже горбонос, похож на француза, лет тринадцати, Анатолий Жан (Ажан). В предисловии о нем сообщили следующее: «Предельный лаконизм, острота и живость восприятия — отличительная черта творчества А. Жана как поэта делает его стихи особенно привлекательными. Печатается А. Жан впервые. Сейчас молодой поэт работает над романом в стихах». Ага! Сел по малолетке, но погонялово прилипло: «Ажан».

А вот и стихи самого сопредседателя, со-самоиздателя, Фомы. Самые первые стихи, написанные сходу, без предварительных ученических проб, а упоминание об «увесистой клади стихов» приведено исключительно для солидности:

\*\*\*

Я никуда не тороплюсь,  
мне свет луны, как в горло нож.  
По тихим улочкам пройдусь,  
к кому-то загляну в окно.  
Мне свет луны, как в горло нож,  
меня её лучи казнят.

Толпа выходит из кино,  
и нет ей дела до меня.  
По тихим улочкам пройдусь.  
Пройдусь вдоль жёлтых окон в ряд.  
Из этих окон мне вослед  
ничьи глаза не поглядят.

### **Зима**

Наступила зима  
на соседнего дома стропила.  
Наступила.  
Наступила на поля и деревья,  
луга и дома.  
Наступила.  
Облетевший кустарник  
в хрупкий, будто печенье, наст утопила.  
Наступила.  
Всё бело: на дворе, за двором, на степи ли.  
Наступила зима.

### **Разноцветные звёзды**

Луна бредёт в изнеможении,  
роняет свет на города,  
и средь ветвей нагромождений  
мигает синяя звезда.  
За ней, как будто порождение,  
как продолжение следа,  
средь облаков нагромождений  
плывёт зелёная звезда.  
И вновь, когда восток в брожении  
и пробуждении, тогда  
над горизонтом — продолжением  
выходит красная звезда.

## Забутые стихи

Листаю я забытые тетради,  
моих стихов увесистую кладь,  
лишь скуки из-за и забавы ради  
я открываю каждую тетрадь.  
Читаю я забытые стихи,  
читаю то, что было только завязь.  
И вижу я — не так они плохи,  
и неплохими даже показались.  
Чуть-чуть, быть может, шевельнётся зависть,  
но я держу увесистую кладь,  
держу я то, что только — завязь,  
и кажется, что я сжимаю клад.

\*\*\*

И не надо мне мыслей высоких,  
тихо сыплет во мне листопад.  
Мне бы жить, питаться осокою  
и смотреть, как горит закат.  
Я смотрел бы, как солнце раздавливается  
о подавшийся горизонт,  
я смотрел бы и тихо радовался  
под неслышный деревьев звон.  
И, прижавшись к бидонам тёплым,  
ощущая коровью плоть,  
я бы в кузове тряся тёмном,  
в бок вбирая коровье тепло.  
И в подпрыгиваниях и вздрагиваниях  
ошалевшего грузовика  
я б смотрел, как на небе разламывается  
убежавший с цепи закат.

## Ночная картинка

Занавеска на окне —  
призрачно и бело.  
Чёрный тополь в тишине  
шепчется несмело.  
Ночь тепла и глубока,  
темнотою тлеет.  
На подоконнике рука  
синезеленеет.  
Ветер чуть шевелит  
на стене узоры,  
Будто в лунной пыли,  
призрачные шторы  
ходят взад и вперёд,  
словно в разговоре.  
И большая луна  
стоит на заборе.

Далее следуют стихи малолетнего Юрки Макусинского про город Нефтеград, куда за длинным рублем уехали его мать и отчим. После сотрудничества с нашим журналом Юра не сел по малолетке, хотя все предпосылки для того были. Детство свое он провел в дружбе со старшими, Фомой и полным отморозком Чёрным Коном, которые его, как беспризорника, брали с собой в походы и придумывали ему различные испытания, требующие выносливости и смелости, видимо, готовили в космонавты, ведь его Юрой назвали в честь Гагарина. «Дитя песка, он жил ползком», подвергаясь все новым испытаниям: то на прочность канатной дороги через речку Камышинку, то на эффективность тренажера-пропеллера для тренировок вестибулярного аппарата. Вынес все и широкую, ясную грудь дорогу пролОжил себе. Трудно поверить, что этот веселый, большеголовый пацан с серьезными грустными глазами начнет извергать спустя много лет, забыв все беды и несчастья детства, такие тексты:



Чтобы было и мне, и со мной интересно,  
я пишу для друзей бесконечные песни.  
И доносы пишу, увлеченно и много,  
о друзьях и товарищах — Господу Богу.  
Мне так велено было — подробно и честно  
говорить о забытых, больных, неизвестных,  
о далеких и близких, о добрых и строгих —  
обо всех. Непременно торжественным слогом.  
Мне уютно с друзьями в реальности тесной  
и любить, и молиться, и строить совместный  
восхитительный космос, в квартирке убогой,  
подводя непридуманной жизни итоги.  
Я в друзьях растворюсь и умру. И воскресну.  
Но пока поживу ещё с ними немного.

А за стихами Юрки пошел Бей-Булат, псевдоним, взятый Фомой из-за недостатка авторов (на фото: Фома с нарисованной сажой бородой), для придания журналу солидности и национального колорита.

\*\*\*

Хочу в стихах сказать, чего хочу  
во мною не написанных стихах.  
Хочу в стихах — полуденную тишь,  
хочу в стихах из-под колёс дорогу.  
Хочу в стихах несбыточный Париж,  
индейскую проворную пирогу.  
Хочу в стихах гуденье проводов,  
полночных струн негромкое рыданье,  
чтоб всколыхнулось разом мирозданье,  
помолодев на тысячу годов.  
Хочу в стихах полуденную тишь.  
Хочу в стихах неясную тревогу,  
но ясную и чёткую дорогу  
и голубой, несбыточный Париж.

Далее отдел «Проза».

Поль Стивенсон «Открытие с последствиями». Тоже дебют Фомы в прозе, подражание каким-то велеречивым авторам, по сути — пародия. На фото воображаемый автор с сигарой и «Юманите». Газета на французском языке продавалась в Барнауле, куда мы ездили на электричке за фотоаппаратом «Смена-8», проезжая станцию «Алтайская», где бродил будущий известный поэт-метафорист Ваня Жданов<sup>4</sup>, но о его существовании мы не догадывались...

Далее фотоконкурс «Эврика».

Далее стихотворные подборки: Василий Казанцев, Тамара Горбачёва, Людмила Хлебникова, Леонид Мерзликин.

Далее Стефан Цанев (он же Фома):

\*\*\*

Она озябла, в автобусе холодно.  
Она спешит, отрывая билетки.  
И выйти нельзя ей, она по проходу проходит,  
как птичка в автобусной клетке.  
А пассажиры все незнакомые,  
в окна глядят равнодушные лица.  
И только шофёр сидит, как дома,  
она поближе к нему садится.

---

<sup>4</sup> Иван Фёдорович Жданов родился 16 января 1948 года в селе Усть-Тулатинка Чарышского района Алтайского края, одиннадцатый ребенок в семье крестьянина. Когда Ивану было 12 лет, семья переехала в поселок Белоярск, недалеко от Барнаула. В 16 лет Иван Жданов пошел работать на завод «Трансмаш». Окончил вечернюю школу, первая публикация — в 1967 году в газете «Молодежь Алтай». Далее учился на факультете журналистики МГУ, был исключен. Активно участвовал в неофициальной литературной жизни Москвы, начиная с 1975 года (совместное выступление в ЦДРИ Ивана Жданова, Александра Ерёмченко и Алексея Парщикова). Первая книга «Портрет» принесла Жданову всесоюзную славу, вышла в 1982 году.

Не пренебрегали мы и написанием глубоких философских трактатов, в одном из них, опубликованном на страницах «Суматры», исследовали важнейшую по тем временам «Роль стула в жизни человека»: «Трудно найти что-либо в жизни человека, что по своей необходимости, по своей исключительной важности, могло бы сравниться со стулом. Роль стула в нашей жизни поистине безмерна. Много ли найдется у нас в России домов, в которых не нашлось хотя бы одного стула?»

И далее всесторонне обозревался стул как предмет. Как абсолют, рассматриваемый вне связи с бытовой и общественно-политической жизнью, который нужно познать. Только спустя много лет, присутствуя на лекциях по «современной философии» у непревзойденного Мераба Константиновича Мамардашвили<sup>5</sup>, нашего преподавателя (ВГИК), внимая ему, когда он рассказывал об «Эпифанической ситуации» (Эпифания есть вневременный «процесс», при котором Абсолют — Единое, чистое Бытие — проявляет себя во все более и более конкретных формах. Это переход от интеллигибельного единого к феноменальному множому, от абстрактного бытия к бытию конкретному, от непознаваемого Абсолюта к познанному. Бесконечный процесс эпифании порождает неисчислимы градации бытия. Но эти различные градации можно свести к нескольким главным, универсальным уровням. Наиболее распространенными схемами таких уровней являются две — трехчленная и пятичленная. Указанные уровни, или миры, часто обозначаются и следующим рядом арабских терминов: хахут, лахут, джабарут, малакут, насут. Все эти уровни объединяются в «совершенном человеке», учение о котором занимает видное место в философских построениях мыслителей суфизма), я вспоминал, радостно улыбаясь, глядя на Мамардашвили, Фому, разглаголящего о функциях, о роли стула в жизни человека.

---

<sup>5</sup> Мамардашвили Мераб Константинович (15 сентября 1930 года, Гори, Грузинская ССР, СССР — 25 ноября 1990 года, Москва) — советский философ, доктор философских наук (1970), профессор МГУ.

Первый номер нерегулярного литературно-художественного журнала вышел в единственном рукописном экземпляре. Для второго номера мы готовили новые материалы и стали искать машинку. Следует сказать, что в те времена былинные любой множительный аппарат стоял на учете в милиции, на самом деле в КГБ, даже в нашем краю, в краю непуганых попугаев. Советская власть бдительно следила за распространением любой информации, не прошедшей цензурной проверки. С любой пишущей машинки брали образец шрифта, записывали ее серийный номер, и эта информация отдавалась специальному человеку. Такая практика существовала вплоть до исчезновения (падения, уничтожения, аннигиляции?) советской власти-матушки, е! Но первую машинку мы добыли... Казалось, откуда можно было добыть пишущую машинку в занесенном снегом рабочем поселке? Но нашлась, нашлась у немца, Вильмана, хоть и был он из волжских, сосланных, но неистребимую любовь к механизмам пронес с собой через страшную жизнь, любовь к философии, чистоте и часовым механизмам. И потому оказалась у него старинная пишущая машинка, в которой не хватало букв: АПРОЛЕНГМИТЬ, тех букв, на которые приходится большее количество тычков. Но что это по сравнению с тем чувством, когда можно было со значительным видом сесть за машинку и задумчиво отстукать: уа...дж..у вс...з д. бр. сыч. ушл. э, дырбулцир какое-нибудь и вставить затем недостающие буквы ручкой. Ради этого, исключительно для красоты картинки, мы стали с Фомой курить трубку, хотя до того не курили вовсе. Мы же к этому времени прочитали все книжки не только в школьной библиотеке, но и в районной, где среди прочих книг открыли и книги Эренбурга, а тот, как известно, с трубкой не только не расставался, но многие герои его тоже, а кроме того, им был написан целый цикл рассказов под названием «13 трубок». Таким образом, мы становились маститыми писателями местного значения.

### **«Фома. Инвалид детства»**

*(написано для одного из номеров «Суматры» о том времени)*

Ж и г а, потомок польских повстанцев, сосланных в Сибирь в 186 ... каком-то году, отличался уравновешенным характером,

мягким юмором, способностями к точным наукам, был он светел, с польским раздвоенным подбородком и внимательными голубыми глазами. Дома у него говорили по-польски, но эта речь носила какой-то очень интимный характер, вряд ли кто-то знал, что у них дома была своя маленькая Польша, впрочем как и у Цв е г и (Цвенгера) была дома своя маленькая Германия с идеальной чистотой и ковриками на стенках, на которых были записаны сентенции готическим шрифтом, типа «гот мит унз», как и у Ч у м ы (Чумаченко) дома стоял щебет Оксаны на мови з матусей, смех со слезой, запах браги, чеснока и сала, у Ф о м ы — вязаные половики, аккуратно сложенные книжки старшей сестры-студентки и всегда доброжелательная речь его родителей. Фома писал стихи и рисовал, и, видимо, от сестры, которая училась в НГУ, он знал о внешнем мире несколько больше, чем остальные, особенно больше Кона, которого звали Чёрным за цыганистую наружность, парня, как считали многие, безо всяких способностей и потому способного на все. Старший брат Кона к тому времени мотал второй срок после срока по малолетке, был известен в криминальных кругах с погоняловом Жора. Жора промышлял разбоем, сел в свое время за вооруженный грабёж — в основном брали машины «Связь», которые перевозили деньги из поселков в районный банк, так производили нерегулярную инкассацию.

Скоро Жора должен был откинуться, как сообщали серьезные люди, которые появлялись вечером в доме Кона в сапогах, ватниках, а через пару дней уезжали в хороших костюмах, модных пальто и обуви. Это были каторжане, сидевшие большие срока по серьезным уголовным статьям, цеховики, медвежатники, ну и просто, кто их знает, мошенники. Они поселялись ненадолго в доме Кона, люди деликатные, образованные, непьющие или очень мало пьющие, и вечерами разговаривали с отцом Кона о политике, исключительно все разговоры были о политике, истории и литературе.

В доме Чёрного Кона был просто салон Анны Павловны Шерр! Жига и Фома приходили к Чёрному потрепаться, так это и называлось, «пойдем к Чёрному потрепаться», и трепались они, ох, как трепались, казалось ни о чем, но о чем — это отдельная тема. Дело в том, что то, о чем они трепались, стало вскоре

реализовываться, и чем дальше, тем больше, чем больше они планировали и фантазировали тогда, тем реальнее оно стало позже.

Фома во время этого трепа занимал, как всегда, ироническую и независимую позицию, он играл Печорина, нет, он тайно играл Лермонтова, демонстрируя замашки Печорина, конечно же, тут были и пресыщенность жизнью, и разочарование в любви, и отчаянная храбрость, что проявлялось больше в игре в футбол, но уши Лермонтова виделись во многом: и в рисунках, которые он набрасывал в записной книжечке, и в стихах, отрывочных строчках, зачеркнутых-перечеркнутых.

Стоит мне, блондину, лирическому герою, протянуть руку и достать эту коричневую записную книжку, как я выхвачу наугад строчки, вот сейчас: «...когда сомнение придёт, когда отчаянье придёт, себя сумеете пересилить, сумеете карандаш не бросить, пишите, будете правы...» Вот такие строчки, помеченные 8 мая 1966 года.

\*\*\*

Мы большие и маленькие.  
Мы качаемся плавно.  
Мы не люди. Мы маятники.  
Это самое главное.  
Мы живём ощущением  
необычного мига —  
прохождения линии,  
понимания мира.  
Мы живём не из корысти,  
наша участь известная,  
мы проходим на скорости  
наслажденье отвесное.  
Мы не славим молчания  
измеренья четвёртого.  
В мёртвых точках качания  
мы действительно мёртвые.  
Мы качаемся, странствуем,  
ограничены крайне.

Мы стремимся из крайности  
 в неизбежную крайность.  
 Предвкушенье фиктивное —  
 к необычному ринуться,  
 суждено нам фиксировать  
 только плюсы и минусы.  
 Только точки молчания.  
 И об этом рассказывать.  
 А момент понимания  
 суждено нам проскальзывать.  
 А момент равновесия  
 удивительно маленький.  
 Нам живётся невесело —  
 мы не люди, мы — маятники.  
 Запасёмся терпением,  
 ночи зимние длинные.  
 Мы живём ощущением  
 продолжения линии.  
 Мы её догоняем,  
 объясняем, стараемся.  
 А когда затихаем,  
 с ней зачем-то сливаемся.  
 Мы большие и маленькие,  
 мы качаемся плавно.  
 Мы не люди, мы — маятники.  
 Это самое главное.

«Чёрный Кон имел свою комнату с видом на шоссеиную дорогу, ведущую, кажется, к Чуйскому тракту, а за дорогой было картофельное поле, за ним согра, болотце с багульником, куда прилетала тьма уток, дальше взгорок, а за ним — речка Камышинка, тоненькая, но с обрывистыми крутыми берегами, мы там находили свинцовые пули с оболочкой, в этом месте красные расстреливали белых, а когда власть менялась, белые расстреливали красных. Был случай, кода дядька расстрелял племяша, а через некоторое время другой племяш пристрелил его и утопил в проруби».

А мы там с Фомой, Коном и Жигой ловили окуней, а чуть выше, под мостом, где речка разливается по камешкам, ловили щучек, накалывая их вилками, как острогой. Дальше за Камышинкой, за мостом, был татарский аул, на самом деле не татарский, а жили там алтайцы, спустившиеся с гор зачем-то, очень добродушные, пьющие парни и мужики, бабки в цветастых нарядах курили длинные трубки и доверчивые девочки, наивные, дружелюбные, легко прощающие обиду и обман. Там дневал и ночевал Чика, любитель перевозданных любовных утех и времяпрепровождения.

Камышинка впадала в Чумыш, вытекающий из Салаирского края, нагорья, туда, туда были устремлены наши очи, что там? Нас манили эти названия, эти имена, прислушайся: Са-ла-ирский край, или: Игарка, Ма-ма, Бука-чача, Ду-динка, так же манили, как у любимого Джека Лондона, Ориноко или: Техас, Калифорния, Массачусетс, ходит из края в край, есть деньги — ол райт, нет денег — ол райт!

\*\*\*

Я маленький Колумб,  
малюсенький колумбик.  
О, я совсем не глуп,  
я величайший умник.  
Что толку на мели  
загнуться в океане?  
Америки мои  
вмещаются в кармане!  
Смотрите: я велик,  
но вы меня простите,  
мне скромность не велит  
носить высокий титул.  
Смотрите, я какой,  
зажав под мышкой берег,  
свободную рукой распахиваю двери!  
Зову из тёплых ванн  
в открытый и блестящий,



я открываю вам  
 безумно настоящий.  
 Входите, о-ля-ля!  
 шикарная премьера.  
 Инкогнито земля,  
 неведомая terra!  
 Что толку на мели  
 загнуться в океане?  
 Америки мои вмещаются в кармане.  
 Я их наоткрывал  
 за столько лет немало,  
 но только с покрывал  
 срывая покрывала.  
 (Я думал: открывал,  
 а вышло, вот беда-то,  
 переименовал открытые когда-то.)

А Чумыш впадал (и впадает! до сих пор!) в Обь, а там Барнаул, Барнаул, большой аул, там город, там театры, кинотеатры, вокзал, аэропорт, и достаточно, это уже край земли, это уже большой мир, дальше не поедem, думали мы, там нам делать нечего.

Однажды наш класс за хорошее поведение повезли в Барнаул на культурную (!) встречу, встречу с кинематографистами. Никакого такого пиетета никто не испытывал, в том числе я, а особенно Кон, он завязался языком с каким-то шоферюгой, а я пялился глазами на тетку, которая была в шляпе, этого я не видел по жизни, тетке было лет тридцать, пожившая тетка вела себя, словно она еще не перешла в среднюю школу, застряла между восьмым и девятым по слабости здоровья, она делала странные жесты и гримасничала, словно ее что-то корежило внутри, но оказалось, так и надо было: тетенька работала артисткой. Затем, когда нас запустили в зал, на сцене сидела она же, с ней человек пять мужиков в кожаных пиджаках, седых, солидных, важных, а сбоку-припеку сидел, опустив голову, тот, как бы шоферюга, сжав между колен жилистые руки и чувствуя себя явно не в своей тарелке, оно и понятно.

Спустя годы после этих событий я, лирический герой этого правдивого повествования, я, голубоглазый блондин, прошедший огни, воды и медные трубы, повидавший в том числе и всех кинематографистов не только родной страны, но и дальнего зарубежья, никогда больше не встречал этих важных седых мужиков в коже, встречал похожих, как не встретил ни их, ни артистку нигде, а вот шоферюга-то оказался непрост, правильно прилип к нему Кон, почувствовал родную мятежную душу. Это был Шукшин. Недаром тетки шептались: «А Вася, Вася-то с ними!» Это может понять не всякий, а кто правильно понимает, тот, следовательно, правильно толкует и чувствует известное: нет пророка в своем отечестве. Это не касается тех, кто там не жил, а там — это в России. Эта тоска и боль только у нас, болезных, у нас только с детства заниженная самооценка, потому как мать в детстве ушибла, ну не мать, да кто-нибудь да ушиб пыльным мешком по голове, нарочно или ненаароком.

\*\*\*

Как тишина зализывает краски  
большого города, где всё не наяву!  
Где фонари, витрины, словно маски,  
где вечера не преданы огласке —  
где я мечтой пронзительной живу.  
Туда, где тень и свет роняет звуки,  
и лица повторяются в словах,  
беги, отринув мнимые заслуги  
и темноты невидимые слуги,  
пусть под вуаль драпируют дома.  
Бери на выбор письма листопада  
и, разобрав их медленную вязь,  
постигни смысл теории распада  
времён и душ, чья вечная лампада  
в один светильник разума влилась.  
Бульвары спят с открытыми глазами  
витрин, остекленных на ветру,  
всё то, что камни здесь пересказали,

вдруг оживёт страницами сказаний,  
благословив пера нелёгкий труд.  
Его мосты чугунными прыжками  
настигли берега иных забав,  
и, сжатое железными тисками,  
тугие кольца смысла распуская,  
упало время каплями со лба.  
Театр жеста, лёгкий и прозрачный  
под балаганом рваных облаков,  
сметая рухлядь декораций мрачных,  
ты жизнь играл! И темы равнозначной  
не сыщешь в мифологии богов.  
Чуть смежив веки, остывают рампы,  
сорвались с крыш виденья сладких снов,  
усталые распахивает рамы  
мой город, осмеявший дифирамбы  
и скучную напыщенность основ.

Но я не о Барнауле, леший с ним, там мой дальний родственник, дед Кузьма, работая извозчиком, ноги потерял, отморозил, и отрезали ему их по колени, туда едут пацаны учиться в ПТУ, затем возвращаются, приблатненные, на муху «падла» говорят, на сало — «бацилла», не о том я направлении, не о Западном. О нем будет потом, а пока о Восточном.

И куда же ты пошёл,  
такой вот, косолапый,  
одной ногою на Восток,  
а другой на Запад...

### **Брату Юре. Громы**

В белых нежился подушках  
Тарамбах — весёлый гром —  
до обеда, а потом  
целый час палил из пушки,

колошматил в колотушки,  
лес подёргал за верхушки  
и за речкой, на опушке,  
над берёзовой верхушкой  
раскололся пополам  
на Бабах и Тарарам.  
Тарарам из лесу вышел,  
влез на дом, скатился с крыши,  
через поле и бугры,  
натолкнулся на обрыв,  
натолкнулся, оглянулся  
и опять помчался в лес.  
Не пробился, отразился  
и на облако залез.  
А Бабах пошёл туда,  
где гудели провода.  
Докатился до дороги,  
по дороге до села,  
где работала пила.  
А потом устали ноги,  
на пороге посидел,  
на дорогу поглядел.  
Звякнул стёклами в окне  
и растаял в вышине.

### **Из «Суматры», номер утерян**

«... Не говорите мне о Москве, которая нам являлась по утрам,  
в шесть часов, независимо от времени года с бодрым голосом:

— Говорит Москва! Доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику! Ноги на ширине плеч, руки в стороны, и-и- начали, р-раз!»

И вся многомиллионная Россия охренивала. Выползали под эту бодрую музыку из забоя черные шахтеры, доярки, уже давно закончившие дойку, торопились домой трясти похмельных мужиков, кормить детей, рыбаки, выбрав дель, забивали до жвака трюма живым серебром, на кораблях играли подъем, и сотни ног в тяжелых ботинках грохотали по стальной палубе, ээки, ежась и матерясь,

становились на переключку... Страна, не проспавшись, начинала свой тяжелый рабочий день, «когда выходит на работу с похмелья яростный народ».

А из Москвы неслось радостное, бодрое, счастливое:

— Е-ще раз! И переходим к водным процедурам.

Ну, никто, убей, не знал, что такое водные процедуры! Умывались, конечно, зубы чистили. Ну, не все, но водные процедуры — это было что-то особое, как бы медицинское, виделись шланги какие-то, как в медпункте, и всех там, в Москве, промывают, для здоровья, для здорового образа жизни. Нам это как бы до фени, мы просто живем, а им нужно. Они все как бы правительство или при правительстве. И когда в школу по распределению из Дубны, ну, Москва, прибыла учителька (Людмила Федоровна) с мужем-физруком, это было шапито-шоу, на них смотрели, как на редких благородных цирковых животных, которые еще и говорят, но решили: нормально, пусть, так надо. Когда же стали высылать тунеядцев (дармоедов)<sup>6</sup>, то народ поимел культурный шок.

Особенно лютовала Бедариха, та, про которую Федька Чика, Чикиндроллиз сочинил частушку: «Самолет летит из Америки, Бедариха сидит, вяжет веники!» Так вот она кричала, что привезли из Москвы яуреев, тунеядцев, прямо с телегами и лошадьми, детьми и бабами, свалили их в Уляхин лог и они там теперь будут жить.

Яростный и неподкупный авантюрист Кон, Чёрный, сблатовал нас с Фомой сходить вечером к ним и посмотреть, что за народ такой, чем живет, познакомиться. На всякий случай взяли кастеты, засунули по финке с наборной ручкой в сапог, приоделись в ватники с нашитой изнутри жестяной (прообраз бронжилета) и пенкдюхали.

Первым на разведку пошел Чёрный, он соврал, что его предок был наказным атаманом и большим специалистом по переговорам

---

<sup>6</sup> Интересно, что в советском союзе всем лицам, обвиненным в тунеядстве (ст. 209), присваивали аббревиатуру «БОРЗ», которая расшифровывалась как «без определенного рода занятий». Впоследствии в обиходе появился жаргонизм «борзой».

с турками и ляхами, поэтому наказал нам подождать с полчаса, он прикинет пятаку к носу, подготовит почву и даст знак. В тишине, наполненной бесшумной жизнью, вдруг послышался звук лопнувшей струны.

— Басовая, — сказал Фома.

Спустя некоторое время раздались выкрики множества мужских голосов на непонятном языке, звонком, словно кто-то бил стеклянную посуду, стеклянную, оловянную, деревянную, а затем словно кто-то разбил чугунный котел, и все стихло.

— Санскрит, — сказал Фома.

— Что санскрит? — спросил я его, полыхнув, словно угольком из костра, своим глазом героя, осветив лицо Фомы. — Что это значит?

— Санскрит — это праязык индоевропейских народов.

— Ты не пугаешь? — не желая ударить в грязь ничем перед заносчивым Фомой, спросил я иронично. — А не идишь? Не иврит, например?

Но спора не получилось, с Фомой спорить, что вшей набираться, не получилось потому, что из кустов вывалился Чёрный, у которого одежда и так всегда в дырках, словно он по ночам бегал по кустам, а тут вообще была в лохмотья. Губы у него раздулись, как разваренные пельмени, покусанные до того пчелами, глаза превратились в щелочки, что роднило его с парнями из соседней алтайской деревни, а в правой руке, распухшей до синевы, намертво врос кастет. Он попытался его снять, дул на него, потом поплевал, но вместо полноценного плевок у него получился звук, словно он запрягал лошадь: тпррру.

Он протянул нам с Фомой руку, чтобы мы поплевали, но Фома с омерзением отвернулся, и плевать стал я.

Этого было недостаточно, кастет все глубже уходил в распухшие пальцы, казалось, что он на глазах вращался в руку, как вращает ствол дерева в кладбищенскую решетку.

— Так и ходи, — съязвил Фома, — скажешь, что родился с кастетом.

— Давай, — не обращая внимания на иронию приятеля, сказал он мне.

— А сам? Что сам не можешь?

— Я уже, — показал Чёрный глазами на мокрые штаны.

Я посмотрел по сторонам, не видит ли кто этого позора, заметил, что Фома незаметно исчез, ничего никому не сказав, что для него было характерно.

Он любил так: появиться неожиданно со всезнающим глубокомысленным видом, помолчать или что-нибудь значительное сказать, а затем так же исчезнуть, показывая своим видом, что он совершенно независимый человек, и вообще, человек ли он? Он как бы представлял из себя в это время печального демона, духа сомнений, летающего над грешной землей.

Короче, он исчез, а кастет, соответственно, смочив мочевиной, мы благополучно сняли. Чёрный, положив правую руку на левую, прижав к сердцу, как носят ребенка женщины (потом, спустя годы, так ему пришлось носить автомат), настороженно отдыхал, что-то соображая.

И мы пошли тропой Хошимина, в полной темноте, полагаясь только на звериное чутье Чёрного. Издалека доносились звуки, словно журчал ручей или творил молитву мусульманин, неясно, неясно чужому слуху о чем.

Но через некоторое время слышались в этом бормотании отдельные слова, которые вскоре уже стали объединяться в отдельные словосочетания, а затем и в целые фразы:

\*\*\*

Презрев запрет сверкающих зеркал,  
я к вам пришёл из глубины зеркальной,  
где много лет безмолвно и фатально  
я издыхал, как будто отдыхал.  
О, я для вас древней, чем бронтозавр,  
с печальной улыбкой фантазёра,  
меня вы называйте бронтозёром,  
я отзовусь на кличку фантазавр.  
Меня зовут неразделимый бог,  
в моем боку отверстие, мне больно,  
я улыбаюсь, зажимая бок  
божественную белую ладонью.

Понемногу стал виден маленький гаснущий костерок и отдельные освещенные им фрагменты тел, лица, высветленные снизу, кажется, состоящие из одних губ, щек и глаз, ушей, запутавшихся в черных волосах, руки, кисти рук, удлинненные, словно у прищельцев, пальцы, босые ноги и лодыжки — все это, казалось, существовало по отдельности и шевелилось само по себе.

Меня убить непросто будет вам,  
я в вас, во всех, заложен от рожденья.  
Ведь я сказал, я только отраженье,  
какой же смысл стрелять по зеркалам?

Голос смолк, части тел пришли в движение, ладони стали порхать, словно встревоженные птицы, сверкали угольки глаз, глаз оказалось много, и создавалось впечатление, что кто-то пнул нечаянно в темноте пень со светлячками и они брызнули в разные стороны, как это бывает, когда идешь ночью по тайге.

Мы с Чёрным подползли поближе, но однохренственно виднее не стало. Только тут мы заметили затаившегося Чику, который подглядывал за другим костерком, у которого собрались молодые яуреики, они болтали и тихонько посмеивались.

Было ясно видно одно: яуреи плотно сидели у костра, образуя концентрические круги вокруг Фомы, как и положено в такого рода ритуалах, а то, что это ритуал желтой мессы, сомнений у меня не было, мой дед Кузя, Кузьма Иваныч, еще не такие ритуалы видывал, когда был извозчиком в Барнауле, и много чего об этом рассказывал.

Говорили они между собой явно на праязыке, санскрите, хотя иногда прорывалось ептвоюмать, тухес, портомолето, впрочем, кто его знает, на самом деле, что достоверного в этом, мало ли кто кого не епт в исторической обратной перспективе.

После некоторой паузы, пока из рук в руки передавалась чаша, сделанная наподобие черепа Горгозы Медуны, а может, на самом деле это был и настоящий ее череп, опять голос забормотал, причем с интонациями Фомы. Чёрный глянул на меня, при отраженном свете костра я видел его глаза и понял, что и он смекнул это.



\*\*\*

Схватили парня и зажали рот,  
и вывернули руки, и покуда  
сбегался, улюлюкая, народ,  
всегда до зрелищ падкий, и покуда  
искали гвозди, волокли пилу,  
покуда где-то спрятавшись в углу,  
монеты пересчитывал иуда,  
покуда, озверев от торжества,  
под ним толпа гудела, напирая,  
любовь росла, вздымалась, выпирала,  
и приняла размеры божества.  
А сам не бог, а человек из плоти,  
с губой, разбитой в кровь под бородой,  
улыбку мучил, сильный, молодой,  
не смерть была страшна, был страшен плотник,  
с размаху гвоздь вгоняющий в ладонь, —

читал наизусть текст Фома притихшим яуреям, и только пощелкивание в костре, словно работал счетчик Гейгера, выдавало напряжение у собравшихся.

— Оба-на, — прошептал Чика, отползая, — уносим ноги.

— Чего так? — спросил я его.

— Не переносу всякую чертовщину, ну ее в пэнь! — и стал полегоньку отползать.

— Да ты просто стихов не любишь, не понимаешь, потому что ты тупой, — сказал я ему, придерживая за ногу, чтобы он не уполз.

— Почему это я не понимаю? Почему это я не люблю?

— Да ты ни одного стишка наизусть не помнишь, не смог выучить, сколько нам ни задавали.

— Да, бля, я выучивал, но сразу забывал, потом вспоминал неожиданно, да не в том месте, например, в женской бане.

— Ты ходишь в женскую баню?

— Да, а что? Хожу, что в этом удивительного, — спросил Чика. — Ой, вспомнил, вспомнил его стих, он мне написал на день рождения в открытке. — Чика закатил глаза и велеречиво произнес:

\*\*\*

Храни нас бьющих путь по бездорожью  
дыханье облекающих в слова  
храни нас бог навеки от безбожья  
неверие храни от божества  
вдохни нам жар в заснеженные очи храни нас снег  
от жаркого огня храни нас день от затемнения ночи  
храни нас ночь от ослепления дня храни нас свет,  
храни нас свет от тени  
храни нас тень от полной чистоты храни азарт от пу-  
стоты и лени  
храни нас лень от праздной суеты.

Загрустил вдруг Чика и отполз в кусты, в темноту.

У костра произошло легкое замешательство, по кругу пошел гулять ковшик, который обычно используют в бане, чтобы плеснуть воды на раскаленные камни, часто, зачерпнув воды, отхлебываешь жадно пару глотков, чтобы унять внутренний жар, а затем уже используешь его по назначению. Тут же ковшик служил круговой чашей, все по очереди, начиная с Фомы, стали отхлебывать по глотку по кругу, пройдя один круг, ковшик возвращался обратно к Фоме, тот отпивал, скосооблившись, и передавал на следующий круг. До меня с Чёрным донесся запах одеколона, но марка его мне была неизвестна, и я предположил вслух, что одеколон французский, на что Чёрный возразил, что вряд ли, скорее всего, нашкуляли пузырьков, слили в один тазик и теперь запузывают, е-мое, дальше некуда, вот и шмонит на всю округу.

Дальше сидеть в темноте не было смысла, и мы оба-два свалили оттуда, пока не были обнаружены и не получили еще, как говорится, по первое число, неясно, почему по первое, а не по второе или третье, но мы ночными змеями уползли из Уляхиного лога и вышли к людям, к свету и цивилизации местного значения. В ее обличии снова оказался Чика, мерзейший из нашего ближнего круга тип, но терпеть его все-таки приходилось всем, потому как он занимал свое прочное законное место, нишу в экологическом балансе нашей стаи.

Обозначить, что именно значил Чика для всех нас, было трудно, но если попытаться, то можно нарисовать абрис следующего содержания: все, что было связано в окружающем мире со взаимоотношением полов, размножением, особенно человеческих особей, все это напрямую касалось Чики, все это он замечал, фиксировал, объяснял, пропагандировал, размышлял над этим и стремился всегда к этому. Кто-то родился с музыкальным слухом, становился гармонистом, а то и в перспективе в переходах играл на гитаре за деньги, кто-то, как Фома, мог говорить стихами, как только родился, и у него пошли первые слова, причем такие слова, что он и сам не понимал их смысла и значения, единственно, что он понимал, что сии слова что-то значат, и не просто значат, а значат многое и пришли к нему не просто так, а с определенной трансцендентной или трансцендентальной целью, трудно не перепутать эти определения, но примерно так, и он внимательно относился к тому, что ему было сказано этими словами, иначе как же? А вот Чика родился с совсем иным даром, причем ярко выраженным, не менее чем у Фомы, может, поэтому они как-то тянулись друг к другу и понимали один другого. Часто их можно было заметить гуляющими вместе, причем Чика говорил про одно, а Фома про другое, а в результате оказывалось, что они говорят про одно и то же, но только сокровенное...

...Вот идут Фома с Чикой, а по обочине сопровождает их пес Миха, бредут они в своих кирзовых сапогах из-за непролазной осенней грязи, а мостки, деревянные мостовые появятся только весной, когда будет половодье, когда растаявший снег превратится в огромные лужи, лывы, и добраться до магазина, школы, работы станет невозможно, все будут ходить по ним, быстро и грубо сколоченным, затем к лету плахи и горбыль разберут на хозяйственные нужды жители. А по осени же все улицы представляли из себя перепаханное пьяным пахарем поле.

Вот бредет Фома, Чика матерится, Миха лает на трещащих сорок, а он бредет и читает Чике стишок, стараясь не застрять в колдобине и не потерять сапоги, читает текст, который имеет отдаленное, на первый взгляд, отношение к происходящему:

\*\*\*

Это пёс Михаил, и под запахом псиним  
нераскрытой души его плыл махаон.  
Это пёс Михаил, это есть патефон,  
а куда подевать эту странную силу?  
Что исходит от вас, удивительный пёс?  
Вы идёте, когтями по доскам стуча,  
мы так здорово вместе умеем молчать,  
чёрт возьми, неужели всё это всерьёз?  
Посмотри на меня, это я неудачник,  
ты, конечно, умён, просто ты не знаком  
с этим миром, а в нём каждый третий — собачник  
с отвратительным чёрным крюком.  
Ваши грустные песни летят до луны.  
Человеком не стать, ваша песенка спета...  
Я не знаю, дельфины, возможно, умны,  
но они — технари, а собаки — поэты.

— Так вот я и говорю, только мы с ней решили, — Чика фразу не окончил, так как сзади послышались шлепки босых ног по осенней грязи, мимо них, срезая поворот, неся Иван Абрамович, школьный учитель по кличке Максвелл, в закатанных до колен штанах с закатанными вместе кальсонами, так что казалось, будто он обут в высокие ботфорты. Он уже вошел в период осенне-зимних штормов и бежал догнаться брагой к доброму татарину Хусаинову, который никак не мог выгнать из нее чимергес, косоротовку, так как не успевала она дозреть из-за доброты его душевной и неспособности отказать другу своему, учителю физики и математики, умнейшему человеку на ближайшие десять километров, вплоть до райцентра.

— И что вы с ней решили? — грозно уставился на Чику Иван Абрамович, вытирая тыльной стороной ладони мокрые губы. — Ну да, вы решили с ней, а вот знаете ли вы с ней об электромагнитной природе чувств? Электромагнитную теорию сформулировал кто? Правильно, Максвелл, Джеймс Клерк, а ее же, цветовой волновую, в области взаимоотношения полов,

кто? Правильно, я, Иван Абрамович. Не веришь? А ты подумай, подумай сам своей башкой, — высокий Иван Абрамович склонился над Чикой, положив на его голову мощную лапу. — От ультра-красного, невидимого, тревожащего первого чувства к оранжевому, желтому, зеленому — радостному, голубому — счастливому, синему — ровному, равнодушному и фиолетовому, ультра-фиолетовому, невидимому, ушедшему навсегда, но оставившему в душе неизгладимый след. Вот тебе и радуга, вот тебе и семь цветных карандашей! Думай, завтра на уроке спрошу! — и Максвелл помчался дальше к покосившейся калитке своего друга, который уже выглядел его из-за занавесочки, укоризненно покачивая головой. Друг его был учителем его дочки и неимоверно ее домогался. Другой бы сказал, что учитель был безответно влюблен в нее, но слово л ю б о в ь — слово опереточное, перешедшее в лексикон наодеколоненного обывателя, деликатный народ это чувство старается не обозначать прямо. В семье у Чумы было выражение «Вин ии жалие», старославянское — он ее жалеет, желает, жалеет и жалит, сколько смыслов в этом и широты с глубиной.

\*\*\*

В стране семи цветных карандашей,  
где лунный свет тонюсенький, как волос,  
мы ловим зарождающийся голос  
отверзнутыми ранами ушей.

В стране семи цветных карандашей,  
где лунный свет тонюсенький, как волос,  
где застывает капельками голос,  
серёжками на кончиках ушей.

В стране семи, в стране семи цветных  
карандашей, в стране карандашиной,  
забрызганные известью машины  
летят сквозь разлинованный цветник.

А у мышей стеклянные глаза.

Пристреливая загнанную лошадь,

мы выбегаем радостно на площадь,  
а площадь нам бросается в глаза  
пустынностью. Полно было людей,  
и надпись вдруг нас углубиться просит  
на площадь, именуемую «Площадь  
Всех загнанных на свете лошадей».  
И тени лошадей бредут по кругу.  
Безмолвный, отрешённый карнавал.  
И мы в глаза не поглядим друг другу,  
поглубже гильзы спрячем мы в карман.  
И жаром задохнувшийся цветник.  
И небо из тугого крепдешина  
в стране семи, в стране семи цветных  
карандашей. В стране карандашиной.

— Ага, — сказал Чика, проводив завистливым взглядом Ивана Абрамовича, — ага! — дело в том, что по какой-то причине Чика никак не мог подобрать слова, что он хотел выразить, да и особо не пытался, ему хватало жестов для обозначения тех действий, которые происходят между мужским и женским началом, между Инем и Яном у всех видов живых существ, от букашек до людей, просто человекообразных обезьян, по мнению Чики. Мало того, следы этой деятельности он находил и в явлениях природы, ураганах, бурях и катаклизмах, что поднимало его мироощущение до беспредельных высот, в отличие от философов конца XX века, его мировоззрение из себя представляло целостный характер. Все учение он мог описать тремя буквами. Щелканье указательным пальцем правой руки по большому пальцу левой всегда сопровождалось словами трата-та, он комбинировал буквы т, р, а на разные лады, из этих трех букв складывалось все то, что он хотел выразить.

Трата-та мышь, ратат-та гнида,  
трага-та северный олень,  
тра-та соседка Степанида,  
а так же все, кому не лень.

Так он мог описать все, что происходит в кино<sup>7</sup>, театре, опере, балете, особенно, конечно, в балете.

Спустя некоторое время мы, в поисках Фомы, выбрались к крутому склону Уляхина лога, с другой стороны, ближе к дороге, где начинался обрыв с обнаженной структурой синклиналей и антиклиналей. Нашему взору — иначе не скажешь, стоя на краю бездны, глубже этого оврага никто никогда в жизни не видел, — открылась чудовищная картинка брошенного лагеря ягуреев.

Везде валялись остатки их пребывания здесь: бесхозные кибитки без колес, отдельно валяющиеся колеса, обломки музыкальных инструментов, виденных нами впервые, таких как клавишин, мятые медные трубы, орган, гитара, бубны, жалейки и тромбон, — все говорило о том, что они в спешке покинули эту стоянку, взяв только необходимое, остальное переломали, чтобы никому не досталось, но можно было подумать, что просто это все они взять не смогли, потому что их самих взяли, кто его знает, что творится в таких местах, особенно поздно ночью или очень рано утром.

С трудом мы спустились по обрывистой стене оврага, цепляясь за корни багульника и рискуя свалиться вместе с почвой, именуемой алювием или делювием, смотря по обстоятельствам, но неважно, падение с такой высоты радости никогда не приносит, хотя откуда только падать ни приходилось в ту пору, в ранней юности, самое простое — с обрыва. Чика сновал среди обломков быта, выискивая что-то, разглядывал брошенные вещи, рылся в обгоревших книжках. Видимо, книжками ягури растапливали костер, предпочитая их бересте и щепе, но почему

---

<sup>7</sup> Кстати о кино: И «Анна Каренина», «В огне брода нет», «Война и мир», «Его звали Роберт», «Женя, Женечка и «катушоша», «Зеленая карета», «История Аси Клячиной», «Комиссар», «Майор Вихрь», «Свадьба в Малиновке», «Седьмой спутник», «Три тополя на Плющихе», «Фокусник», «Хроника пикирующего бомбардировщика» — все это было на экранах страны, но этого мы не видели и журналов про кино не читали в нашем краю вечнозеленых помидоров.

некоторые частично только обгорели, было загадкой, похоже все же, что они попытались сжечь их. Мало того, что написаны они были совершенно на непонятном языке, да на языке ли? Просто на пожелтелых листах рядами расположились значки, напоминающие буквы, но ни одной знакомой не было, некоторые книги были написаны цифрами, а многие вообще, вместо букв имели дырочки, предназначенные явно для слепого чтения. Это наталкивало на мысль, что яудей были чернокнижниками и не только оттого, что корочки книг почернели от копоти, книги, читанные при свете костра, при свете свечи темнеют, особенно если у них переплет сделан из кожи, но дело не в темном цвете книги, а в ее содержании. От всех этих книг веяло кладбищенской вечностью и ночными кошмарами.

Чика собрал все, что мог собрать, что представляло для него какой-то интерес, и мы пошли с этими вещдоками к Чёрному Кону. Тот, выросший в криминальной среде, умел разобраться в таких вещах, о которых мы понятия не имели. Чёрный делал первые успехи на этом поприще и, по всему виду, связывал свои дальнейшие жизненные планы с этой деятельностью. Это проявлялось во всем, все его повадки выдавали в нем будущего криминального лидера. Всегда создавалось впечатление, что он знает несколько больше, чем остальные, но знает не из области прогрессивных наук, ведущих человечество к счастливому будущему, а просто, по бытовухе, стоит ему сообщить, что кто-то ночью обнес киоск с керосином, и хотя урон был небольшим, унесли мелочь деньгами да топорик, как он понимающе кивал, и еще Чёрный обладал совершенно непонятным качеством, его никогда никто не хотел отметить, даже просто так, по ходу дела или между прочим, с ним не хотели в этом смысле связываться, от него веяло чем-то таким, что любая бочка катилась мимо него, а брагой дышали совершенно в другую сторону.

Школа была окончена. Чёрный Кон яростно запустил в кусты ненавистный учебник математики. Это было, пожалуй, самым примечательным событием дня.

А в это время в разных местах родились ныне известные деятели, тогда младенцы, горький плач которых можно было бы услышать, приведись случайно оказаться в месте их рождения.



Рената Литвинова, российская актриса. Олег Куваев, мультипликатор, режиссер, создатель сериалов «Масяня». Евгений Гришковец, российский драматург, режиссер, артист. Богдан Титомир (Олег Титоренко), поп-певец. Дмитрий Нагиев, российский актер, телеведущий. Шерил Ли, американская актриса (Лора Палмер в сериале «Twin Peaks»). Виллем-Александр, король Нидерландов с 2014 года. Филипп Киркоров, российский эстрадный певец, продюсер. Фёдор Бондарчук, российский режиссер, актер. Мария Шукшина, российская актриса. Елена Воробей (Лебенбаум), российская артистка эстрады. Николь Кидман, австралийская киноактриса. Рихард Цвен Круспе, немецкий музыкант, гитарист группы «Rammstein». Памела Андерсон, канадско-американская актриса. Жанна Агузарова (Иванна Андерс), российская певица. Вин Дизель (Марк Синклер Винсент), американский актер, сценарист, режиссер, продюсер. Тимур Кизяков, российский телеведущий. Джулия Робертс, американская актриса. Франсуа Озон, французский сценарист, кинорежиссер. Анна Николь Смит (Вики Линн Маршалл), американская модель, актриса. Дмитрий Львович Быков (Зильбельтруд), российский поэт, писатель. Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2007, 2008–2013).

Им еще нужно было научиться ходить, говорить, потом пойти в школу и прожить в ее стенах целую жизнь, стать там двоечником, троечником или отличницей, подружиться на всю жизнь с кем-то, а с кем-то ненадолго стать врагом, много-много чего им придется испытать, а у нас все это было уже позади. Впереди была неизвестная жизнь. Некоторые решили поступать в институты и даже в университеты. Многим это удалось, например Жиге, кажется, на физмат, Тамаре, сестре Фомы, на какой-то затейливый факультет, в названии которого присутствовало загадочное слово «лингвистика», Фома вдруг вдохновился словом «архитектура» и ринулся в Энск сдавать экзамены. Остальные же, Чика, Чёрный Кон и автор этого правдивого повествования и многие другие отдались жизни такой, какая есть, перспективе, обычной для парня тех сказочных мест: если не успеют посадить в тюрьму, то тогда заберут в армию, а там уж можно начинать жить.

*Продолжение следует.*



## Валерий Дашкевич

Родился в 1964 году в Актюбинской области. Учился в Омском филиале АГИК. Работал журналистом, режиссером на телевидении, в книжном издательстве. Публиковался в коллективных сборниках и на российских литературных сайтах, в журнале «Дружба народов». В издательстве «Геликон» (Санкт-Петербург) вышли две книги стихов: «Ангел сумерек» и «Сизый ворох Сизифа». Живет в Барнауле.

\*\*\*

Где родился — там не пригодился.  
Дом растаял в пасмурной дали.  
Помнишь, как безудержного Нильса  
Гуси недолетные несли...

Как имён зачеркнуто немало  
На полях истории простой...  
Как меня чужбина обнимала  
Холодом, презрением, пустотой.

Всех спасал, да сам не изменился —  
Прижилось заклятие во мне.  
И всё больше превращаюсь в Нильса,  
Никому не видимый вовне.

Сгинул Мартин, канула империя...  
Крысы атакуют небеса.  
И в руке остались только перья —  
Мне вовеки их не исписать.

\*\*\*

В черепа ступе вращая анапеста пест,  
Смотришь — как лес увядает  
                                божественно женственно...  
Если и явится с неба какой-нибудь перст —  
Не ошибёшься в земном толковании жеста.

Все полушарья обшарив, угла не найдя,  
Где приземлить свою душу — транзитную путницу,  
Ты говоришь — у меня всё в порядке... Но я  
вижу сумятицу и ничемушную путаницу.

В ярмарке судеб куда тебе с нимбом ярма...  
Груз не облегчишь — да только натерпишься сраму и  
жизнь по листочкам раздаришь — раздашь задарма,  
чтоб, как подросток, кичиться глубокими шрамами.

Рядом с тобою и я заклинаю слова,  
Чтоб для тебя извивались, жалели и жалили.  
Дудка стара и мелодия эта слаба  
Миру поведать — о чём умолчали скрижали...

Только в дрожании пальцев, в мерцании нот,  
В том, как звучу невпопад в эту пору осеннюю,  
Прячась от холода, блудное сердце найдёт —  
Нет — не спасенье...  
                                спасительный призрак спасения.

\*\*\*

У нас не до романтики — драконы  
Жиреют не по дням, а по часам.  
И щёлкают зубами дыроколы,  
И оборотни рыщут по лесам.

У бургомистра пассия сменилась —  
Об этом заголовки всех газет.  
Я проворонил бал и впал в немилость  
За то, что не явился поглазеть.

Война идёт. О ней давно б забыли,  
Когда б не дорожали потроха.  
Я прочитал намедни два стиха,  
Ждал критики, но все на них забили...

Шестого дня влюбился поутру.  
Блистал пред ней умом, глаза мозолил...  
Гадалка мне сказала, что умру.  
Жена зашила дырку на камзоле.

Святая кротость, бедная моя,  
Тебе со мной час от часу не легче.  
Я б изменился так, чтоб я — не я,  
Но от себя живых, увы, не лечат.

Одна лишь смерть... Но только не весной,  
Когда бурлит шампанское сирени  
И ангел мой в юдоли неземной,  
Закрыв глаза, играет на свирели.

Пусть я умру в каком-то ноябре,  
Помянутый насмешками и бранью —  
Как будто я весенней гулкой ранью  
Не пролетал на пушечном ядре...

Натешатся, ославят за глаза,  
Для сплетен не отыскивая повод.  
И только ты... Ты будешь знать и помнить.  
Но ничего не сможешь рассказать.

\*\*\*

Я ль не препинался о законы,  
Я ли эти пни не корчевал,  
Превращая изгородь загона  
В накрепко сплетённые слова...

Осознания нету и в помине.  
Я ли взгляд не вперивал в зенит,  
Воскликая: «Господи, помилуй!» —  
Будто это Он меня казнит...

\*\*\*

Стали годы, словно дни, короткими.  
Стала жизнь на выдумки слаба.  
Не мычите божьими коровками,  
Лепые нелепые слова...

Стынут волны страсти фиолетовой.  
И в предгорьях левого плеча  
Тяжелей вериги филаретовой  
Жжёт неразделимая печаль.

Всё проходит — хочется, не хочется...  
Жизнь меняет русло. C'est la vie.  
Неизбывно только одиночество  
Мудрости, таланта и любви.

И пока один пронзённо мечется —  
Мирно плещет времени река.  
Мерно копошится человечество,  
Как наживка в банке рыбака.

\*\*\*

Скоро мы все разойдёмся по разным углам  
и допишем, что сможем.  
Наши незыблемо зыбкие музы растают, развеются смогом.  
Вряд ли мы станем уже щебетать, но и вовсе не смолкнем —  
надо же как-то друг с другом хотя бы порой говорить...

Скоро мы станем в потёртых альбомах  
искать наши прежние лица.  
Мёртвые птицы, зелёные перья, багряные листья  
будут казнить наши сны. И наутро бессмысленно длиться  
станет всё то, что уже не вернуть, не исправить и не повторить.

Я и теперь иногда ухитрюсь из нашего шумного ада  
тихо исчезнуть туда, где светило смешливо, неспешно и ало...  
Где по потребностям делят любовь —  
только мне, ненасытному, мало,  
чтобы не чувствовать боли и вновь, как ребенок, смеяться и петь.

Часто мне видятся те перелески и балки, где ёлки и палки,  
юркие белки, поляны, цветы и весёлые целки-весталки...  
Там моё бедное сердце, как Лазарь, трепещет на белой каталке,  
веря, что ты подойдёшь и спасёшь,  
если только чуть-чуть потерпеть.

Скоро мы все разойдёмся по разным углам  
и отыщем, что сможем.  
Что не сложилось, в уме, как учили, разделим и сложим.  
Что я пытаюсь тебе объяснить этим путаным слогом...  
Только любовь и останется, милая, только любовь.

Трудно ручью вырастать, превращаться в широкую реку.  
Глупо в любви объясняться поэзии пьяною речью.  
Я бы её променял на беззвучную речь человечью —  
только куда мне девать этот ворох безвыходных слов...

\*\*\*

...от безысходности кутаясь в чувство вины,  
куришь, отважно сутулые сутки ругая...

Словно никто тебе страх не подмешивал в сны,  
словно тебе не ясны ни одна, ни другая —  
сущности этих скитаний, — когда поутру  
хочется просто пожить... А с полудня — досада...

Словно никто твою тень на девятом ветру  
не продырявил листвою продрогшего сада.

\*\*\*

Как сошёл на землю, разом всё позабыл.  
Стал подрядчик в порту, а болтают — был моряком...  
У его Ассоль в глазах звёздная пыль.  
У портовых шлюх на сосцах — ром с молоком.

У него в подвздошь с утра длинная боль,  
И зимою белая даль из его окна.  
И потёртую жёлтую карту его Ассоль  
Достаёт вечерами, сжигая свечу одна.

Он морочит девицам голову, их отцов  
Обдирает ночами в покер, впадая в раж...  
У червовых дам на губах порт не обсох,  
Но у их королей в головах — лишь звонкая блажь.

Он секстаном колет орехи, а свой журнал  
Судовой превратил в оружие против мух.  
И когда не зол, величает Ассоль: «Жена!»  
И Ассоль, улыбаясь, ему отвечает: «Муж...»

Он живёт свою жизнь, будто выиграл ночью две.  
И чего ж его ждать — ведь не Нельсон, не Ушаков...  
Но рассвет не наступит, покуда не скрипнет дверь.  
И Ассоль не уснёт, не услышав его шагов.

\*\*\*

Парикмахер, раскудри твою мать,  
Поцелуй меня, подобно Иуде...  
Я отныне не боюсь умирать.  
Там теперь и у меня — свои люди.

Подуши меня... смелее, не трусь!  
Подыши, искусно бритвой лаская...  
Потуши, ведь я и жить не боюсь —  
Даже взор бесстыже не...  
опускаю.

Опускаю всё, чему не воздать  
Даже словом — что вело к осознанию...  
Я отныне не боюсь опоздать,  
Всё равно — и опоздать опоздаю.

Опоздаю.  
В непутёвой груди  
Непослушное предсердие рвётся.  
Удержи меня, кричит, убеди...

Я и с этим опоздал — не вернётся.

Не вернётся, парикмахер, никто  
Ни к кому и никогда ниоткуда...

Ты с меня уже настриг целый стог,  
Мой услужливый невинный иуда.  
Не криви стыдливо рот, не скучай,  
Не закатывай крыжовник под веко...

Я по-русски оставляю на чай  
Тем, кто может потерпеть человека.



\*\*\*

И вновь, и вновь любовь рифмую с болью,  
Ведь нас, безумцев, хлебом не корми...  
И дразнит Бог последнею любовью,  
И зреет сумасшествие в крови.

О, я сходить с ума имею навык —  
Мучительно, надрывно, постепен...  
...но сам сойду, подтолкнуть не надо  
На шаткую последнюю ступень.

И стоя на последней, обречённой,  
Над чёрным средоточием судьбы,  
Я сам сосредоточенным и чёрным  
Пребуду в муках внутренней борьбы.

И мне на миг привидится, приснится,  
Что смерть неповторима и легка...  
И надо мной карающей десницей  
Господь на миг раздвинет облака.

И, видя изменения палитры,  
Я потянусь к несбыточной мечте.  
И обращусь не в робкие молитвы,  
Но в жаркий шёпот, шёпот в темноте.

Покуда мига зыбкое богатство  
Мерцает, как последний флажок...  
Позволь не испугать, не испугаться,  
Не отшатнуться и не пожалеть.

\*\*\*

От любимых повеяло холодом,  
Иль в себя надоело играть...  
Ибо все мы под Боингом ходим —  
Как сказал мне один иммигрант.

Кто нездешний не только по говору —  
Знай, свой ужас держи в кулаке...  
Ходят люди чужие по городу.  
Говорят на чужом языке.

Я ли, чуждый неоновым сумеркам,  
По имперской аллее бреду.  
Не греша многословием суетным,  
Навлекаю молчаньем беду.

Навлекаю с рассвета до полночи,  
И в ночи повторяю опять:  
«Помоги мне, Всесильный, Беспомощный,  
Промолчать. Промолчать. Промолчать».

\*\*\*

Не важно, кто с тобою спит, —  
вставай, проклятьем заклеимённый!  
Не важно — свеж или испит  
твой лик, над мукою склонённый.

Не важно — что ты говоришь,  
какой тебе с молчанья прок и  
куда ты прячешь, как воришка,  
незаписанные строки.

Не важен слог, не важен стиль.  
Не важно — краткий стих иль долгий...  
А важно не произнести  
Того, что всяк услышать должен.

\*\*\*

Как ходили с тобою по краю,  
Кто — гадая, а кто наугад.  
Как созрело пол-яблока раю...  
Как Адам чем богат —  
Тем и Гад...

Лжёт, свистит из ветвей предложение,  
Грязно-розовым шьёт языком...  
Как души ни меняй предлежание —  
Не смиришь, не изменишь закон.

Как прищепки впивались в запястья,  
И кричало бельё на ветру...  
Как, ненужное знание пестуя,  
Как упрямый Коперник, ору —

Как слагаю за вычетом вычет,  
Как взлетают ресницы, дразня...  
Как в груди моей жжёт и мурлычет —  
Как за пазухой Бог у меня.



## **Нина Орлова (Маркграф)**

Родилась на Алтае в селе Андроново. Окончила Камышинское медицинское училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи и рассказы печатались в литературных журналах «Аврора», «Москва», «Наш современник», «Отчий край», «Симбирск» и др. Автор трех стихотворных книг: «Царь-сердце», «Утешение», «Птицы-летицы». Лауреат премии имени святого благоверного князя Александра Невского.

## **АЛТАЙСКИЙ ЦИКЛ**

### **Глупый Коля**

Его в деревне называют Глупым Колей,  
он телом взрослый, разумом дитя,  
он вечно босый, вот бежит по полю,  
колючи-дудки, а ему ничуть не колко,  
и плетеницей над челом взлетает чёлка.

Лицом красив, черты — как отблеск рая,  
глаза — озёра горного Алтая,  
рот в детской радости открыт и ловит мух.  
Всё Коле нравится. Всё хорошо ему.  
— Ты мамку любишь?  
Засмеётся Кольша.  
Он любит всех,  
но бабушку всех больше.

Мать в городе, всё ищет лучшей доли.  
В завивке модной, в платье чистый шёлк,  
с гостинцами для бабушки и Коли  
приедет в отпуск — то-то хорошо!  
Но отчий дым ей очи ест, он горек,  
недельку поживёт — и снова в город.

Сейчас, мы знаем, полем он бежит,  
вдали комбайн срезает волны ржи,  
садится солнце, вот оно погасло,  
и гонит стадо пыльное пастух,  
идут коровы  
молоко, сметану масло,  
дары для жизни в вымени несут.  
Воитель грозный, племени хранитель,  
в любовной муке бык-производитель  
цель догоняет, трепетную Майку,  
в нём центнер мышц, башка размером с шайку  
и, как ухват, угнутые рога.  
Идёт отдельным стадом мелюзга,  
овечки-ярочки и козочки пуховы,  
баран шагает и козёл бедовый.  
Над речкой мост, дощатые подмости,  
толпятся бабы, старики, подростки,  
здесь вся деревня собралась  
встречать скотину,  
и Коля тут босой и с хворостиной.  
Он за козлом бежит, смеясь: эй, Борька!  
На спину прыг и едет на козле!  
А бабка смотрит и вздыхает горько.  
«Ох, горькое дитя! Считаю, шашнадцать лет,  
Ровесники-робята уж девок щиплят,  
на тракторах всё лето, на канбайнах,  
Володька Дудь с весны на мотоцикле,  
а мой-то, поглядите, на козле».  
И слёзы фартуком несчастно утирает,  
А Коля:

— Баба, бабушка, не плачь!  
Бросает Борьку, тот умчался вскачь.  
«Ох, горькое дитя, ох, доля злая...»  
Он обнимает бабушку:  
— Не плачь!  
И плачет сам.  
А почему — не знает.

## Случай на Кулунде

### *Подводная история*

Толкая пяткой донные пески,  
взрывая рыб воздушных косяки,  
я в Кулунду нырнула. Под водой,  
окутанная мутной немотой,  
плыла, да вдруг за что-то зацепилась,  
кочки травы, стеблей и листьев силос,  
а тело холодит осклизлый ил,  
но тут Водяник хватить меня за косу  
и ловко от коряги отцепил.

Прищуренные щёлки глаз. Смешок.  
Он был похож на целлофановый мешок  
с завязками на шее и на брюхе,  
с большой серьгой — сигом в ухе,  
в потёках водяных и в струйках, и сосулях ледяных,  
на шее низка тины.  
— Ты не видала рек иных! —  
клокочет бороды его стремнина. —  
Я покажу тебе!  
Ведёт меня Водяник,  
мерцает сланец сквозь густой торфяник,  
плывём всё дальше, глубже в недра,  
в нижний лаз вселенной,  
спускаясь по бочажной, ртутной, пенной  
струе туда, где вся вода Алтая вызревает,

весь снег изнаночной зимы стекает  
и наполняет скважины, как чаны,  
тазы гранитные и кальциевые ванны.

Здесь жилы родников переплелись,  
как на руках сибирских великанов!  
Вода лилась, текла, ломилась, билась,  
волами густошерстных волн неслась отсюда Бия,

Катунь катила камни, в круг себя крутясь,  
перетирала мел и бирюзу толкла  
и, в Бию врезавшись, лазурно замерла,  
не смешиваясь, не соединяясь,  
и потому вода была в полоску:  
одна — белёсая, как береста берёзки,  
другая — синь с налётом серебра.  
Бежит, трепещет водяная зебра,  
как рошица пестреет на лету:  
бия-катунь-бия-катунь-бия-катунь.  
— Вы обе Обь! — мигая мокрым глазом,  
Водяник крикнул. Древним водолазом  
сейчас он выглядел с тростинкою во рту.  
— Катунь, теперь ты новая река Сибири.  
Ты слышишь, Бия?

А новая река  
пересекает степь, всю в лентах сосняка,  
тайгу, болота, гать и топь,  
в себя вбирает Томь — всё обаяние её и шарм —  
и волю Иртыша, и конформизм Кызыма,  
извилистого, что колечки дыма,  
и мелких рек, ручьев очарование ...

Борей играет на кугиклах камыша  
в краю Обдоры, севером дыша,  
увидит в тундре путник дальний:  
весна с реки снимает лёд, оклад её хрустальный.  
И вот разлив. Затопленные поймы.  
И в каждом рукаве, и в каждой складке  
налим, елец и окунь сладкий пойман,  
муksун и жирный омуль у Ямала,  
тугун и чир у мыса Салемала.  
Не счесть племён, что жили здесь, имён,  
их повторяет ветер, волны вторят:  
«Зыряне шли к Обве, а русские — к Обноре...»  
И вздрагивает Обь,  
губою мягкою уткнувшись в море.

\*

А мы...мы вышли к небу по воде.  
И дальше я одна, несомая теченьем,  
меж звёзд плыла — ведь нет у бездны дна,  
и если смерти нет, то нет её нигде,  
и мир подводный тут не исключенье!

### **Сестра не умерла**

То было в девяностых. Битый быт,  
кто спился, кто в инфаркте, кто убит,  
завод закрылся, профсоюз распался.  
Кто обворован, кто проворовался,  
работы нет, а есть — так не платили,  
мы с матерью картошку посадили.  
Картина дня. Отбитый угол рамы,  
я шла рядком, закапывала ямы,  
запорошила пыль глаза и рот.  
Расти большим, кормилец-огород.



Пришли домой.  
Укрывшись покрывалом,  
— Ох, сердце жмёт!  
Ещё так не бывало! — сказала мать. —  
Ещё так не сжимало никогда...  
Как наводнением вздутая вода,  
Втекал в наш двор апрельский вечер,  
деревьев и кустов шумело вече.  
В волнах «красавица лесная» груша  
и наши вишни утонули.  
Я любовалась садом из-за штор  
и улыбалась. Я не знала, что  
в минуты эти в Барнауле  
мою сестру зарезали.

На сад я любовалась и окрест,  
когда они входили к ней в подъезд,  
в дверь позвонил один,  
просил бинта и ваты,  
стакан воды просил для брата,  
тот у стены присел, как будто болен он,  
а ушлый нож уже был занесён!  
Семь раз они в сестру воткнули нож,  
семь ран,  
пока она бежала  
по лестницам, зажатым этажами,  
но я не вижу, взгляд мой стекленеет,  
твердеет рот, язык деревенеет,  
и как я расскажу, я вместе с нею умерла.  
Я с ней лежу.

\*

Простишь ли ты меня когда-нибудь,  
моя голубка!  
Не омыла, не собрала, не проводила  
тебя в последний путь.

Ты так красива, милая сестра, так молода,  
когда бы рядом я была,  
тебя на луг зелёный положила,  
букетик полевой вложила  
в твои ладони,  
сухой бессмертник, цвет душицы, донник  
и мелкие головки маргариток,  
ты их сожми перстами,  
как разрешительной молитвы свиток,  
написанный цветами.

\*

Тебе, Земля,  
не та, что глины горсть,  
песка, подзола, чернозёма персть,  
но ты, могучий шар, гигантская утроба  
ты, в чреве чьём  
зародыш изумруда зреет  
и кварц преобразается в хрусталь,  
как Золушка в принцессу,  
под раскалённым временем, под прессом  
созидается алмаз, божественный кристалл,  
и хризолит, и сердолик лучистый,  
не счесть всего, не перечислить...  
Мерно  
по кругу двигаясь,  
со спутницей беседуешь Селеной,  
ты любишь Солнце и надеждой тешишь Марс,  
и даришь жизнь — одна во всей Вселенной.  
Земля, ты всем нам мать.  
Сестра моя уснула. Спит и спит.  
Весною мягко спать в твоей степи,  
как будто ангел стелет пух с крыла.  
Сестра уснула, но не умерла.  
Землица тёплая, прими её сегодня —  
до пробужденья, до трубы Господней.

## Последнее наше тепло

А в детстве нянькой мне была берёза,  
ветвистая на небо лестница,  
сениц и галок съёмный уголок  
да белобокой кашеварки, вестницы,  
прятала сорока сокровища свои,  
да так-то ловко!  
Эй, воровка,  
кто стёклышко цветное уволок,  
напёрсток, мельхиоровую ложку,  
колечко, рыболовные крючки  
и очи бабушкины — круглые очки!

Мы часто под берёзой собирались:  
Вован-наган, хромой Валера, Ванька,  
наш атаман, и выбражуля Анька.  
Из Бийска приезжал к отцу на лето  
тихоня Паша, золотые планки,  
он «Русскую» играл нам на тальянке,  
мы под берёзою пускались в пляс,  
потом играли: в чехарду, пятнашки,  
и в чижика, и снова в догоняшки.  
Бывало, ссорились, дрались, потом мирились,  
ведь это просто. Вижу как сейчас —  
серпы мизинчиков легко сцепились:  
«Мирись, мирись, мирись  
и больше не дерись!»

Мы спорили, кто выше заберётся,  
Всех выше забирался Тоськин кот.  
«Слезай, — грозят мальчишки, — разобьёшься!»  
А в небе тучек золотой окот.

Зимою ты была белее лилий.  
И береста твоя, и бахрома...  
Сегодня я узнала из письма —  
тебя, мой свет, спилили!  
«Во первых строчках моего письма, —  
писала тетя, —  
у нас все живы и здоровы.  
Сейчас без молока. Не доится корова.  
А у Кривцовых бабка умерла,  
Ей память вечная  
(тут слышится мне вздох),  
хорошая была,  
да хорошо и пожила.  
Наст нынче плох,  
буранило, но мы ходили, хоронили.  
Дом ваш ещё стоит, берёзу же спилили.  
Как человека, жалко, даже слёзы...»  
Прощай, берёза.  
Поленницы узорчатая пленница,  
торчит клоками снега белый мох,  
меж ровными рядами дров  
идёт хозяин. Отряхнул поленья,  
и на руки беря, несёт беремья.  
Сарай минует. Поперёк двора  
в избу заходит молодухе встречь,  
раскладывает на шестке дрова.  
Теперь ты быстрый жар голландки,  
натопленная печь, тепло лежанки.  
Прощай.  
Окончен путь земной,  
лишь пёстрый дым берестяной,  
поднялся над избою —  
всё, что осталось от тебя,  
от нас с тобою.  
Но вот и он рассеялся.

## Боярка

Вдруг вспомнилось: ходили по боярку,  
в Сибири так боярышник зовётся,  
в шафранных ягодах, сгущённых, крупных, ярких,  
чуть-чуть качни — и яркий свет прольётся  
мне на цветущий маками подол,  
в суглинок иль серебряный подзол  
скользнут оранжевые ядрышки-частицы,  
чтоб новою бояркой народиться.  
Брат ловит их, подставив котелок,  
и клювом схватывает удалая птица,  
а ёжика зажмуренный клубок  
в гирлянде ягод ни гугу, не шевелится.

Я помню пальцы мамыны. Она  
как будто доит куст, куста доярка,  
за пять минут уже не видно дна.  
Вот полведра, вот ярая боярка  
наполнила ведро и даже с горкой,  
и мама этот сказочный надой  
накрыла марлей, будто пеною парной.

И говорит, пшеницы прядь откинув:  
«Никак отцовский трактор, вон, у речки!»  
И мы бежим, а нам с горы навстречу  
квадратик неба — синяя кабина!

На всю округу трактор тарыхтит.  
И счастья пыль под ноги нам летит.

Как полюбила я воспоминанья,  
чтоб мыслью возвращать к себе иль словом  
родное сердцу, облики бывшего,  
лишь позовёшь, они уж тут как тут,  
они ведь не исчезли, но живут  
в надзвёздных горницах,  
в светлицах мирозданья.



## Владислав Попов

Родился в 1961 году в Архангельске. Окончил Архангельский государственный педагогический институт. С 1985 года автор трех сборников стихов — «Времена года» (2001), «Встреча» (2006), «Тихие сумерки года» (2011) — и книги прозы «Ворота в синее поле» (2018). Член Союза писателей России. Живет в деревне Покшеньга Пинежского района Архангельской области.

## ТОКНА

**Т**емно в избе. Теплом печь дышит. Зимняя рама еще не вставлена, и слышит Токна, как шелестит трава за тонким стеклом, как шиповник царапается в стену, как ветер посвистывает. Ползет капля по стеклу. И вдруг — ровно шаги, тихие, осторожные. Подошел кто-то, постоял, о стену опершись, вздохнул печально и тихо.

— Кто кодит? — спросил Токна с кровати.

— Никола-бог ходит, — внятно ответил голос. Дерево скрипнуло. Зашелестела трава под окнами.

— А чего кодишь? — спросил Токна.

Не ответил никто. То ли ушел, то ли стоял у прясел, на реку смотрел. Выглянул в окно Токна — никого не увидел. Темно. Река едва-едва звездным светится. Снова лег Токна, думает, плохо без собаки. Собака — уши дома. Но не боится Токна, так просто про собаку думает. Дверь на завертушке, окно узкое, а он старый, а старому — чего бояться? Уснул Токна, подsunул ладошку под щеку и уснул. Приснилась бабушка Маша: сидит за швейкой, заплатку ставит и говорит:

— Вот такой у вас батюшка! Сама не знаю, пошто вас так называет? Петко, Санко и Тохна!

— Токна! — повторяет он во сне и улыбается.

— Вот непутевый! — смеется бабушка Маша. — Тохна, Тохна ты! Отчего «х» не выговариваешь? Скажи: х!

— К! — повторяет Токна и заливается. И Петко, и Санко тоже смеются.

Утром, часов в шесть, светлеет, несмело, робко. Токна уже по избе ходит, день наставляет. Топит голландку-печь, варит в чугуне картошку. Заливает овсяные хлопья крутым кипятком. Соли-сахару щепотку — вот и каша под крышечкой готова. На крыльцо выходит Токна, черпает ковшом воду из бидона, цедит ледяную тихонечко, во рту катает. Ломит зубы, лоб холодом давит. Льдинки о край бидона бьются, толкутся стеклышками. Качается в стеклышках небо. Радуетса Токна: ведрие, дождя не будет! В деревню-то невесело под дождем ходить. Каша поспела, чай поспел. На медный поднос — приданое бабушки — ставит Токна еду, во двор выходит. Сидит на лавице. Скребет ложка по алюминиевой миске, подбирает кашу. Пар над кружкой вьется. Соль подмокла, и солью подмокшей хлеб пахнет. Над горой небо серое, над Истоками — синее, холодное. С листвы вся иголка рыжая на землю упала — снег близко, да все не идет. В прошлом годе шугу несло, по всему берегу шуршало, а сей год запаздывает! Как понесет шугу, впряжется Токна в веревку, поволочит на гору лодку-осиновку. Одна! Одна на все деревни осиновка у Токны осталась. Сядешь в нее — до воды ладошка, а ходкая! На воде — как перышко! Пока свой моторчик заводишь, пока прогреешь, пока на поводь шестом выправишь — Токна на осиновке уж Пинегу перебежал! Сидит в корме Токна, веселко слева-справа ходит. Гребет, спина прямая, глаза от воды блестят. Лавочка скрипит, косточка в плече у Токны в ответ поскрипывает. Жалуются друг другу: старые стали!

Доскребает кашу Токна, пьет чай, греет о кружку пальцы. Корочку хлеба на столбик кладет. Прилетит сорока, обрадуется. Ешь, сорока! Кто еще хлебушком тебя угостит?

В десять одевается Токна, будто на праздник пойдет. Переменяет рубаху, старую, вылинявшую на плечах и лопатках,

на новую, в клеточку. Штаны достает синие, выходные, шуршащие. Сапоги зеленые из ЭВА натягивает, курточку стеганую на вате. Бьет кепкой о коленку и на голову устраивает. Рюкзачок на плечи — вот и все! Готов молодец!

В гору на околок, там полем и рощей, четыре ручья, четыре моста, два крестика оветных, один лес да снова деревня — поселение! — а в деревне — лавка, а в лавке — хлеб! Возьмет Токна хлеба, масла соленого, красноборского, пряников да сухариков, чаю черного, широколистного. И слава Богу! Рыбка-то своя есть — в речке плавает.

Продавщица Светлана Токне радуется:

— Пришел, так чего мало берешь? Бери водочки!

Токна виновато глядит на вино: полки широкие, какого только нет! И говорит, будто оправдывается:

— Так я давеча брал, Света, да все и не попробовал!

— Не попробовал? — изумляется Света. — Ни стопочки?

— Не попробовал, да мне и так корошо. С кем пить-то? Не одному же?

— Тогда молока возьми, — предлагает Света, — хорошее молоко, долгоиграющее!

Токна, чтоб угодить, берет, потом садится на табурет у печки, всем головой кивает, кто ни зайдет, всех слушает. Сразу видно: соскучился! Господи, людей-то сколько! Вот тут-то вся и жизнь!

Предлагали Токне домик в деревне: все одно пустой стоит! В деревне с людьми, все вместе, все рядом. Посмотрел он домик, посидел на железной пружинной кровати, поглядел на углы, пустые они, чужие, открыл дверцу и в печь заглянул, а там и угли не те, не родные. Вдохнул горько и ночью к себе ушел, чтоб не увидели. Родное-то разве предашь?

Час-два сидел Токна, все новости вызнал, а уж в третьем домой задаваться надо, по солнышку-то весело идти! Листва слетела. Сквозисты, черны рощи, не птицами — сквозняками полны. В тени трава смерзлась — не отошла с ночи, блестит, как солью посыпанная. На крыльце почтовом Виктор сидит, следит, как подходит Токна, протягивает ладонь, тяжелую, мягкую:

— Догнала меня водочка, отдыхаю... домой?

— Домой! — отвечает Токна. — Куда ж мне еще?



На почте спрашивает:

— Клавдиевна! Есть ли мне письма?

— Пишут тебе, Толя, еще пишут! А от кого писем-то ждешь?

— Думал Санко напишет или Петко.

— А ты им позвони, Толя! У тебя же мобильник есть!

— Не отвечают! Звоню-звоню — не отвечают. Может, симку сменили или умерли?

— Газеты купи! Газеты новые привезли! «Аргументы».

— Да ведь у меня телевизор есть! Ты лучше мне овсянки дай. Первого номера. Я пачки три возьму.

Душно на почте. Окна плачут. В печке железной, круглой, как бочка, головешка чадит. И все вокруг синенькое: синяя стойка, синие полки, синий сейф в углу, даже двери и матница синие. И от синего грустно Токне и неловко отчего-то.

— Давай и «Аргументы», почитаю! — говорит он. — И батарейки для фонарика.

Она склоняется к компьютеру, морщится, елозит по столу мышкой. Личико становится бледным, усталым, в морщинках капельки светятся, и прядочка крашенная ко лбу прилипла. Чего так печку топит?

— Как ты там, Толя? — спрашивает она и подает в окошечко сдачу.

— Корошо.

— Да где хорошо-то? Все один да один. Вот не взял меня за муж!

— Да ты ведь мала была.

— Да и ты помоложе был...

На краю деревни у крестика Токна останавливается. Глядит печально за спину, на дорогу, на избы, на почту с белой тарелкой. Мечтает, дойти бы скорей до дома. Дома хорошо, дома ладно, дома уж как-нибудь...

Идет Токна, прижимает к груди пакетик с молоком. Бьется молоко в картонные стеночки, будто сердце в ладонь бьется.

Набрякли ручьи болотной водою, шумят в режах под мостами, песок несут, траву дергают, твердую, осеннюю.

— А дома лучше, — с мягкой грустью уговаривает себя Токна.

— Господи, воды-то еще сколько! — думает он и удивляется. —

Бежит, бежит, как весною, все успокоиться не может. Конец октября, а снегу и не выпадало! Вот разве ведрие сейчас, так не ко снегу ли?

В лесу тише, темнее. Листья осины толсто лежат на тропе, тяжелые, широкие, сырые, желто-рыжие, и все от них светится золотым и рыжим: и стволы, и сучья, и мосток через ручей. В ямах, где брали глину, вровень вода, чистая, прозрачная, как промытое дождем стекло. Токна обходит холодные ямы и косит глазом, нет ли где гриба, красноголовика? И тихо-тихо, хоть бы синица пискнула. Оветный крестик белеет полотеньшком. Монетки ржавые на перекладинке. Иконочка под стеклом истлела.

Остановился Токна, надорвал уголок пакетика, отпил молока на глоточек. Потом еще и еще глоточек. Представил, перельет в банку, и будет молоко в чистой банке на столе стоять, белым светиться. И хорошо будет, уютно.

Повернула тропа направо, запетляла вниз к луговому свету. Веяло оттуда травяным и солнечным. И когда запах подсохшей земли дошел до него, обрадовался Токна, зажал пакетик и на свет кинулся. Вспугнул зайца.

Распахнулся лес. Встал Токна, как на пороге, и шагнул вперед с облегчением и в радостной устремленности. И шел Токна дорогой, и часть его пребывала в радости, а другая была в недоумении и в горечи, как сон казалось то время Токне, когда в каждом доме жили. Там свадьбу играли, там низку сновья изладили, там пела Панечка над внуком: «Егорюшко мой, серебреюшко...» И везде был Токна, говорил со всеми, работал со всеми, песни пел долгие и пиво пил сладкое, за реку перевозил, и — вдруг один остался. А голоса звучали...

— Господи Иисусе, помилуй мя! — прошептал Токна и вздрогнул, осознав, что повторил нечаянно слова бабушки Маши. Далеко внизу, за травой, за сосенками виднелась крыша его избы, и свернул к ней Токна, напрямик побежал, рвал ногами траву густую, думал, не выдержит сердце, однако осилил...

Здесь, на побережине, поставил избу Токнов дед. На самце носком топора вырезал год 1928 и рыбку тоненькую с усиками, гыча. Ибо был дед из рода Гычей, и все его прадеды, и все его сыновья и нерожденные внуки были и будут Гычами. И Токна тоже

был Гыч. И на каждом весле и на каждой деревянной лопате вырезал Токна юркую рыбку с усиками. А пошто они все были Гычами, Токна не ведал, спроси чего полегче. Вот и избу, на то и Гычи, у самой реки поставили.

— Льдом собьет, сроеет! — говорили люди с горы.

Да вот не срыло! Глядел дом всеми девятью окнами на реку, и было в нем бело от водяного холода и блеска, будто рыбьей чешуей светился. Клецком, поправлял Токна. И не росло у дома ни куста, ни березы — не желал старый Гыч, чтоб простор заслоняло.

Дома на горе все на лес смотрели, на сузем сырой и темный, вращали двory друг в друга жердями прясел, заплотами, черемухой смердливой, малинниками да смородой, запахивались дымами и горечью бань по-черному, сплетались голосами да песнями. Было ли? Был мир — не стало мира. А он, Токна, живет... зачем?

Пьет Токна чай на лавочке. Вода в Пинеге, как стеклянная, не шелохнется. И глубока тишина осенняя. Далеко, в верстах двенадцати, заревет, забубнит водомет, оторвет баржу от красного берега, за реку потащит. Людей повезет, машины. И думает Токна, какая земля большая, из конца в конец спешат люди. А у него вся бродня — на болото да в лес, да в деревню за хлебушком. А уж за рекой не помнит, когда был.

Деревня Токны уродилась небольшая. Семь дворов. Околок. И населяли двory Голуби да Медведи, Галицы да Пестряки, Сушонки да Конды, был дед Кочерга да Токна из рода Гычей. У каждого рода в деревне свое прозвище было. Богата была в старину деревня! Любая девка мечтала, чтоб Голубь или Медведь к ней посватался. Да и Пестряку и Конде была бы рада, не отказала. А Машенька Кокорина за Гыча пошла, рыбку любила, и подарил ей молодой Гыч сережки серебряные, чусы, по-нашему. Светилось в чусах зерно жемчужное, меленькое, речное, как молоко с голубикою. Ахнула Машенька и приняла Гыча. И имя новое приняла, Чусой прозвали. За сережки серебряные. А была она с вершины, с Печища, из рода Крюков, которые никогда прямо не ходили, а крюками только, за деревню.

Весело жили, робили трудно и много, пиво варили, у ручья общественная пивоварня была. Но то, что бывалоча, не то, что теperича. Торчит из сухой травы пивной котел, разъехался, пустив трещину сверху до самого доньшка. Вот так и жизнь пустила трещину, и вся сила через трещину вытекла, выцедилась. Не зажмешь ладонями.

Перелил Токна молоко в баночки, сголубело оно, утихло. Одну на холод вынес, прикрыл сверху блюдечком.

Поглядел на Пинегу: холодно, сине. Час-другой и в сумерки. Забухмарится. Из-за леса туча вылезет, как полохоло. Горе, горюшко гороховое...

Токна дожевал на лавице размоченный сухарик, отрянул со штанин крошки, оперся на колени, угнездил в ладонях, как в чаше, круглую голову и замер. Заходил ветер, закачалась лодка. Ворона прилетела, стала бродить по слуде, переворачивать клювом плоские камешки. Трава зашелестела, словно дождь мелкий по траве пошел. И задумался Токна. Очнулся — подошел кто-то, рядышком сел. Покосился Токна: худой, горбатый, скулы-то так и выперли, бородишка седенькая, там густо, здесь пусто, и глаза светлые, серые, как вода в Пинеге. Руки тяжелые, длинные, казанки белые, как восковые. Жилочки голубенькие промеж них тянутся. На голове шапочка вязаная. На плечах, уж бог знает что, плащик — не плащик, накидочка, на груди веревочкой стянутая.

— Здравствуй, Анатолий! — сказал нежданный гость. И не удивился Токна: все его знали. Любого спроси, и любой ответит: «Перевозчика-то? Знаем! Жив ли еще?» «Жив, — ответишь, — да перевозить только некого!»

— Перевезешь ли меня на тот берег?

— Чего ж не перевезти, — ответил Токна. — Лодка, вон она, под берегом. Весла только взять надо.

Не хочется Токне вставать, думает, еще чего-нибудь гость скажет, а тот молчит, на тот берег смотрит. Шевелит ветер его бороду, вороток у накидки треплет, полы свивает.

— А то пойдем, — предлагает Токна, — чаю выпьем.

— Да и рад бы, — устало улыбается гость. — Да только мне на тот берег по свету надо. Попьешь с тобой чаю, опять слабости поддашься, а мне нельзя.

— Какая слабость чай? Я ж не водку зову пить! Не видал я тебя раньше! На нашем-то берегу чего управляял?

— На гору к вам ходил, храм навещал. Давно поглядеть мечтал. Прадед мой у вас дьячком служил. Матвеем звали. Слышал ли про такого божьего человека?

— Не, не слышал, — тряхнул головой Токна. — Ни дед мой, ни бабушка моя Чуса Матвея твоего не поминали, видно, и для них давно было. Тебя-то самого как звать?

— Авенир я, — ответил гость.

— Авенир, — повторил Токна. — Не знал я такого имени.

Вздыхнул и пошел за веслами. Сначала в избу заглянул, сунул руку через порог, снял со спицы куртку, шапочку поглубже натянул на уши. На крыльцо вышел. Сидит Авенир, ссутулился, ждет Токну, ногу отставил — болит что ли? Да у кого кости в лета такие не скрипят? Не ноют, едва почуввав сырость и ветер? Вот и у Токны спина со вчера к погоде болит. Вспомнил, как дед усмехался: «Тяжела погода! Уж поднимали, поднимали, а поднять не могли!»

Нес Токна весла, одно длинное, перо узкое. Другое — легонькое, короткое. Спустились к реке молча. Слуда широкая, желтая, как кость алебастровая. По воде рябь идет — спустился ветер. А за рябью гладко, чисто, и в чистом облако отражается. Коротко взгремели о лодку весла — испугался куличок грому, побежал, замахал узенькими крылышками.

— В корму пока сядь и за оба борта держись! — велел Токна. — Вдруг вильнет, спихивать буду.

Раскатал новые бродни до самого верха, заскрипел ненадеванной резиной, согнулся, уцепился левой рукой, правую руку глубоко вниз, растопырив пятерню, подсунул, обхватил острый нос осиновки.

— Ну! — выдохнул. Зашуршала осиновка по слуде, по колышку круглому и сошла полностью в воду. Токна и сам в реку сошел, удерживая, развернул лодку, как надо, и велел пересесть Авениру не в середину, а на шаг ближе к носу. Затем повел осиновку туда, где слуда вглубь обрывалась. Журчала вода. Как перышко, скользила осиновка. Наконец, Токна протолкнул ее вперед себя и в корму на ходу запрыгнул. Тут же, сидя, подхватил коротенькое весло, улыбнулся весело, будто вина выпил, и почал

грести, споро, наискось, поперек течения. Из-под берега вышли, обняло холодом, широким, ровным, да весло грело. Река распахнулась и цвет поменяла. Прежде у берега вода бежала желтая, чайная, густая — все из-за ручьев, а теперь чистенькая побужала, беленькая. Над косой пошли, Токна перестал грести — само выведет! — так в прозрачности видно было, как текут, перекатываются песчинки по зыбучему дну, посверкивают на солнышке. Ударил Токна веслом о край заструги, подвернул лодку и пошел махать слева, справа, забрасывал весло и словно подтягивался к нему, веселый, раскрасневшийся. Взмокла сразу рубаха под курткой, рванул ворот и греб теперь только слева, чисто, сильно, забираясь в вершину, и вдруг неожиданно положил весло поперек колен, выпрямил напряженную спину, блеснул гордо глазами:

— Все! Пускай само волокет! Видишь, Авенир, кол? Вот к тому колу само и притащит. Задубел?

— Ничего, — скромно ответил Авенир и стал глядеть молча на левый берег, где виднелась изба Токны, где рощица, сбегаящая вдоль ручейки к реке, озарялась посередине верхушкой золотой осины. Выше, над деревней, тянулась к небу церковь, как веточка сломленной ели.

А Токна с любопытством разглядывал Авенира: «И волос под шапкой густой, сивый. Нос переломлен. Откуда пришел? Зачем? И поклажи с собой нет, ни сумы, ни мешка...»

Жарко было под шапкой, Токна стащил ее, взъерошил горячие волосы.

— А что пустой-то?

— А все со мной, — ответил Авенир. — Зачем мне?

Отпустила река лодку, пошла медленней. Токна встал в рост — не боись, не опружистая! — расставил ноги, воткнул в воду длинное весло, нашарил дно, оттолкнулся, протянул лодку на всю длину, и еще, и еще раз. Глухо постукивало весло о борт лодки, журчала за кормой вода, свиваясь в воронки.

— Сейчас мелко станет!

И вправду совсем близко пошел песок, Токна выпрыгнул, ухватил цепь и повел в поводу лодку. Берег длинный, до самой разлоги песок да пестрый камешник.

— Сиди! — приказал Авениру. — До берега дотяну! — и обернулся. — Осень ведь. Пошто без сапог?

— Да нет у меня сапог, — виновато сказал Авенир. — Не думал...

— Ноги беречь надо.

Уперлась лодка. Авенир в корму перебрался, да что толку: едва продвинулись.

— Ну и что теперь? — усмехнулся Токна. — Разуваться придется. До сухого не допрыгнешь! — и, видя, как засуетился Авенир, сказал: — Ладно! На лавку встань. Давай правую ногу! — развернулся, подставил спину, ухватил Авенирову ногу, потом другую и, краснея, зашлепал по воде, пересек и на камешник тяжело поставил.

— А лодка? — спросил Авенир.

— А что лодка? На мели лодка. Сейчас назад пойду! — И показал рукой: — Видишь вежа на разлоге? До нее дойдешь, подымешься и направо иди. Там о берег дорога будет. Дойдешь до нового кола, тропу увидишь. Она тебя к горе сведет, на ней деревня, не видно отсюда, низко! Просто все, не заблукнешь! Поди давай!

— Заплатить надо! — сказал Авенир. — Сколько берешь?

— Да Господь с тобой, поди давай! В радость мне было веслом помахать! Поди, пока не темно! Водит тут на лугу-то. Я на то колы и расставил. Раньше крест был, да водой подмыло.

И точно. Потемнело небо, засинело гуще. Поднялась туча, потащила на хвосте ветер.

— Ангел там, — тихо сказал Авенир и опустил глаза, — в храме стоит. Не видишь его, нельзя видеть, а он стоит. Поставлен на времена вечные престол охранять. Одиноко ему. Ты добрый человек, Анатолий, сходи к нему, помолись — легче ему будет службу нести. Сходишь ли? — и с тоской поглядел на Токну.

— Ладно, — тряхнул головой Токна и оглянулся на реку: нет, тихо еще.

— Пойду я, — слабо поднял руку Авенир. — Пойду. Спаси тебя Бог, Анатолий.

Зашуршали камешки под его сандалиями, запереворачивались. Ветер зарыхлил воду. Песок тек поземкою. Глядел Токна вслед Авениру, развевалась его черная накидка, как крылья. Волочил Авенир ногу, загробал камешки.

Трудно было грести Токне. Ветер покосный сбивал лодку. Да у воды жить да воды бояться? На середине хуже стало. Ветер разворачивал, толкал в спину, и устал Токна, покорился, пошел по ветру, ибо старый стал и силы нет в теле прежней. Желтой воде обрадовался, протолкался в тени берега, затащился на слуду. И уж в темноте слабой прозвенел цепью, на ощупь замок навесил, замкнул. На берег забрался и пошел мгlistым желтым от зари лугом. Гудел в проводах ветер. Темными струями текла под ногами трава. И казалось ему, что он все еще через реку перебирается.

«Вот так и снег принесет!» — подумалось ему. И еще подумалось, где-то Авенир идет, да уж по времени, в деревню забрался...

Выхолодило поясицу. В избе зажег свечу, поставил на стол. Опять провода оборвало. Теперь до утра не будет свету. Сидел в дрожащем живом кругу, пил настоящее на избяном тепле молоко, ломал хлеб. Потрескивала свеча, пускала мелкую искорку, отражалась в иссиня-черном окне. И себя он видел в стекле, рыжего, темного, как небо на западе, как сумрак в избе. Ходил ветер за окнами, лязгал желобом. В горе на деревне шатались кусты одичавшей черемухи, дрожали в настывших избах стекла, листали сквозняки выцветшие календари на стенах, вздувались истлевшие занавески. Скрипели избы, как скрипят старые кости. Текла трава между избами. И жалел Токна, что не спросил Авенира, куда он идет? И все виделись глаза его, серые, с жалобой. И как шел Авенир по берегу, волочил раненую ногу, загребал раскатыстые камешки...

Затих ветер. Лежал Токна на кровати, прислушивался к осторожным звукам и шорохам. И казалось ему, что дыхание его, стук его сердца, скрип кровати, потрескивание свечи влетают в ночь за окном, в шелест травы, в рябь волны, в шуршание ветра. Смешиваются и становятся единым, общим. И он сам — часть этой ночи. Дышит трава, и он вместе с ней дышит, соединяясь с травой общим дыханием...

Проснулся. Догорела свеча. Синенькая точка едва чадила на кончике фитиля. Был второй час ночи. Токна вышел на крыльцо. Хоть бы какой огонек откуда пробился! И даже там, где за двенадцать верст Шатрово, не светилось небо. Сыростью ледяной тянуло с близкого болота, видно, холод по ручейке прошел.



Как вброд, перебрел Токна двор, сел на лавицу. Тускло мерцала Пинега. И беспокойно, смутно было на сердце. «Вот помирать буду, — растравил себя, — и никто воды не подаст, не склонится». Вздохнул тяжело Токна, подождал, никто на тяжелый вздох не ответил. Домой побрел.

Что утро пришло, по занавесочкам догадался, засветились они серенько. Дождь тыкался мягко, сильно, шлепал в окна — теперь до обеда гостем станет.

Дела у Токны простые: печь истопить, поесть-попить приготовить. Токна мало ест.

— Усыхаю понемногу, — так он говорит.

Бреет бороду Токна, глядит на себя в зеркало. Голова круглая. В глазах прежде столько было июньской зелени, а теперь вся она повыцвела. А как были с детства волосы не пойми какие, так и остались: здесь пего, там сиво, и жесткие, прямые, как трава осенняя. И усы такие же: торчат во все стороны, в рот лезут.

— Гыч! Гыч! — кричали ему. А что ему сказать, чего обижаться, если он и вправду Гычом родился. Не нажил Токна ни семьи, ни детей. Ходил когда-то к Кате на пекарню. Придет, конфет принесет. Сядет на лавочку и улыбается, глядит, какая Катя дородная. Мягкая, румяная от печного жарыща, горячая, как хлебушек. Чай пили. Токна и дров наколет, и улицу от снега распашет, и за водой на Никольский колодец сбегает, и говорили Кате:

— Гляди! Хороший мужик-то, безотказный!

И смеялась Катя, закидывала руки за голову, показывала темные, горячие подмышки, рассыпала волосы:

— На что мне пескаря такого?

Уехала Катя. До свидания не сказала. Токна по привычке или с тоски какой в потемне, думал, никто не видит, ходил к пекарне, стоял в растерянности подле пустых ящиков. Хлебом они пахли. Казалось, Катей пахнут. Постоит да пойдет прочь. А потом и вовсе приворачивать перестал, и все реже-реже в деревне его видали. Пекарню, к слову сказать, и вовсе прикрыли. Раскатали по бревнышку и свезли куда-то. Мигом малинник вскинулся, и глядел удивленно Токна на то место, где он с Катей когда-то чай пил, где он Катю любовался. Однолюб оказался Токна.

В полдень Токна собрался в деревню, в свой обход обычный. Да не зашел, а в гору поднялся, где церква стояла. Видна с горы вся Пинега до Черного Яра, лут долгий, урочище, где когда-то деревня была да вся под землю, как говорили, в одну ночь ушла.

Тихо было. Грустно, как всегда, после дождя осеннего. Раздвинул Токна сырую малину, взобрался по ступенькам, дернул на себя затекшие стылостью двери — стоном отозвались они. Внутри сел сбоку, на пристенную скамью, опомнился, стащил шапку. Сквозь половицы торчали в белых макушках стебли иван-чая. Иконостас, как оконница без стекол, застыл безглазо. Замер, навис над Токною. Думал Токна, бояться будет, и шел с боязливостью, а вышло-то: печаль тихая. Прислонился головою к стене, смял в ком шапку, смотреть стал. На солее жестяночка с песком, а в ней огарочек — вчера ли Авенир свечку зажигал?

Подул в разбитые окна ветер, зашелестел, закачался сухой иван-чай, закланялся. Дождь хлынул. В дырявую крышу закапало часто, гулко, и вздрагивал иван-чай от капель, и думал Токна, не ангел ли прилетел? А потом подумал, нет, не ангел, запрещено ему отходить.

— Порадуй ангела, помолись, — просил Авенир, а как молиться Токна не знал, и бабушка Чуса не научила, только и помнил с детства: «Господи Иисусе, помилуй мя».

— Господи Иисусе, — прошептал Токна, подойдя поближе к амвону. — Господи Иисусе, не умею молиться, не знаю. Все есть у меня, большего и не надо, и ни к чему. Дай здоровья братьям моим, Санко и Петко. Если б письмецо мне написали или позвонили, мне было бы легче. Один я. И сил мало.

Зашелестел снова иван-чай за Токной, и показалось ему, что склонился над ним ангел и крылом обнял. И заплакал Токна, и не знал, отчего он плачет. И не мог ничего с собой поделать.

Шумел дождь. Капало из дырявой крыши на плечи, на колени Токне, и не хотел он никуда идти. А когда отплакалось, сидел на скамье просто. И твердо знал, не один сидит. Темно было от дождя, холодно. Холодны были тесаные вгладь стены. Сырой травой дышало в проем окон. И увидел сердцем Токна, как ночь, тоска безгласная, затопляет церкву, как тьма собирается по углам и под сводами, как тяжело, как больно ангелу

без огня и слова человеческого. И поднял глаза Токна и сказал дрожащим голосом:

— Ангел, я не вижу тебя, но Авенир сказал, ты есть. Пойдем со мной ненадолго, на сколько можно. Хоть в тепле обогреешься...

Шелестели занесенные ветром листья, покачивался иван-чай, тонко-тонко тянулись ниточки дождя с покатою крыши.

Брел Токна домой. Белым светилась река.

И долго-долго сидел Токна перед окном в родной избе, на реку глядел, на дорогу. На поле. Никто не шел. Никто с горы не спускался. Уснул Токна, уронил голову на скрещенные руки и уснул. И снов не видел: так заспалось крепко. А очнулся, увидел на столе перышко, белое, пушистое, теплое. И возвысилось его сердце и занялось радостью.

## Андрей Пермяков

Андрей Пермяков родился в 1972 году в г. Кунгуре Пермской области. Окончил Пермскую государственную медицинскую Академию. Кандидат медицинских наук. Стихи, проза, критические статьи публиковались в журналах и альманахах «Абзац», «Волга», «Графит», «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», «Крещатик», «Новая реальность», «Новый мир», «Урал» и др., на литературных сайтах «Артикуляция», «Дегуста», «Литература», «Мегалит», «На середине Мира», «Полутона», «Текстура», «Формаслов». Автор книг стихов и прозы. Лауреат Григорьевской премии (2014), премии журнала «Новый мир» (2020). В настоящее время проживает во Владимирской области.



**1984**

Желтые автобусы. Красные трамваи.  
Синие троллейбусы. Серые дома.  
Много разных тряпочек к ноябрю и маю.  
В Новый Год на блюдечках сыр и пасторма.

Виктор Жлуктов с шайбою. Штирлиц в телевизоре.  
Marlboro армянское. Позже — Cabinet.  
Гости у родителей поминали Визбора.  
Дядя Слава пьяненький изломал буфет.

Брат пришел у Серого. Что-то про афганскую...  
Я запомнил умное слово «царандой».  
Лавки полосатые. Песни арестантские.  
Мишки олимпийские. Папа молодой.

### Про ожидание

Детство в самом уголку экрана —  
Всё мельчает времени в плену.  
Приходили молодые ветераны,  
Вдохновенно ввали про войну.

Пели ветераны, шли на горку —  
Кладбища, они ведь на горах —  
Пили ветераны что-то горькое,  
Главный говорил про горький прах.

Мёртвые лежали и лежали:  
Всё равно два раза не убьют.  
Лысые салют изображали,  
Потому что холостыми не салют.

А ещё любим девятым мая  
Всякий раз, хотя б с утра и зной,  
Прилетала сумрачная стая,  
Начинался дождик проливной.

И кропил, кропил от Иоанна  
Робких под созвездием Звезды:  
Мёртвых, молодых и ветеранов —  
*Чающих движения воды.*

## К дождю

Пахнет невкусным обедом и красными грушами  
(потому что на этом закате всё красное).  
Чайки летают над бывшим городом Тушино,  
падают к смутной воде и у воды становятся разными.

Человек на соседней скамейке роняет стакан.  
Другой человек односложно его ругает.  
Волк привыкает к железу и попадает в капкан,  
а человек вообще ко всему привыкает.

А «человек вообще» — это такое неясное,  
очень смешное и, в сущности, непоправимое.  
Листья ракиты свисают пологие, красные.  
Капли с них падают краткие, неуловимые.

## О теньях

Где речка Сестра уходит от города Клина,  
но откуда ещё видна надломленная золотая игла,  
тихо и медленно, будто цветёт малина,  
летит пчела.

Одинокая между громко летающих пчёл,  
между шипящей листвы.  
Всё, что я для чего-то и просто так прочёл,  
немножко касалось полёта этой пчелы.

Немножко казалось, что даже плохие стихи,  
даже стихи с прилагательным «злой»,  
даже те, что ещё чуть хуже и те, что совсем плохи,  
оправданы этой продолговатой пчелой.

Самое интересное то, к чему осторожно:  
вот неожиданно белая липа, тонкая, как весло.  
Липа, пчела, оружие. Прочее — невозможно.  
Холодно, светло, холодно. Холодно, светло.

## Об успокоении

На Бауманской улице очень шумно.  
Ещё и друзья ругаются, все трое.  
Между собой ругаются, на тебя ругаются,  
на погоду ругаются, так бывает.  
Потому что дружно опаздываем.  
И настроение совсем никуда.  
Успеть кажется важным.

Тут мимо проезжает машина с обёрнутой надписью:  
«Реанимация».

А на борту уточнение: «Детская».

И всё.

Хотя не на вызов и без мигалки.  
Но да: всё.

Похожее бывает, когда  
весьма немолодая учительница,  
которую ты несколько десятилетий назад  
знал уже пожилой, рассматривает  
в социальной сети  
фотографии ребят из своего первого выпуска,  
вздыхая:  
«Как же они постарели!»

Или ещё когда гуси, все шестеро, улетая на север  
(это важно: на север, в тундры, а не обратно),  
салятся чуть отдохнуть в круглом озере,  
а затем шумно и разом взлетают,  
оставляя долгую рябь.

Затем эта рябь утихает.  
Вот этот: самый момент утишения, и...

## Контакт

- Где ты там в серой беззвучной своей тиши?
- Здесь я: в серой беззвучной своей тиши.
  
- Там у тебя сырость, прохлада и камыши?
- Есть у меня также сырость, прохлада и камыши.
  
- Там у тебя сыро и правда холодновато?
- Тут у меня сера, сера и серая вата.
  
- Там у тебя каждый год будто множество лет?
- Тут у меня каждый год в красный халат одет.
  
- Там у тебя, как у нас? Любовь, ерунда, еда?
- Ястребом на меня каждая ваша беда.
  
- Ты там сидишь иногда или всё время стоишь?
- Сам ты стоишь. С зеркалом говоришь.

## На первой базе

### I.

Положил бейсболку в кресло.

На бейсболке спит собака.

Престарелая собака доброй марки спаниэль.

Несобачье вроде место, неживотное, однако  
пожилому организму — где укрыли, там постель.

Кресло может обозлиться, а бейсболка как лукошко.

Как хозяйский толстый зонтик.

Или фляжка «Вечный зов».

Время длится от прихожей и собака, точно кошка,  
спит одиннадцать, тринадцать

и четырнадцать часов.



На бейсболке буквы Yankees: это сильная команда.  
В ней играет чёрный пинчер с аккуратной бородой.  
Yankees лучше, чем Динамо, и сильнее коменданта  
из нечастой песни Янки про плохого зверя ДО.

Спит собака на бейсболке — добровольная криветка  
на сложившейся кастрюльке — так бывает иногда.  
Красный луч, отменно долгий, отражает табуретка.  
Отражает как подачу, отражает навсегда.

Примитивная собака в примитивную эпоху,  
не познавшую бейсбола, позабывшую лапту,  
хочет плакать, стонет плохо,  
(шутл., пренебр., прост.: «дурёха»)  
тянет выдох против вдоха  
точно Боинг против ТУ.

А часики в зеркало тикают,  
как сверчки медведкам пиликают:  
— *Rainman — Ray-Van; — Rainman — Ray-Van;*  
— *Rainman — Ray-Van.*  
Вроде обещают великое, а получится ерунда.  
А на часиках циферки прыгают —  
непреложные, как всегда.

## II.

Да.

## Жалко

Вещи семидесятых годов рождались старыми.  
Влекли, как умели.  
Человеки ходили с плохими гитарами,  
плохо плохое пели. Вкусно плохое ели.

Старые вещи старели, люди смотрели.  
Хлопали коврики.  
Дети людей очевидно взрослели.  
Не скучно, но вовремя.

Сначала у всех уходил дед-мороз,  
затем, по факту весны —  
неполная гибель несильно всерьёз.  
И тонкие сны.

Дети любили плохое мороженое.  
Слушали в «радиве» песенки про перекаты.  
Очень хотели быть сильно хорошими.  
В смысле богатыми.  
Потом оказались неодинаковыми,  
а дальше опять одинаковыми,  
как из программы «Джемини».  
Пожилые многоумные крохи.  
Странного роду лемминги.  
Обломки золотистой эпохи.  
Существительные прошедшего времени.

## Ветряные театры

Там, где бесчинная свалка,  
где тонкий дымок над свалкою,  
струнный оркестрик жалкий  
странно играет жалкое.

Это переложение — пьеса для ниток и ветра,  
пьеса для ветра и велосипедных рам.  
Пьеса для маленькой свалки  
в тридцать квадратных метров,  
пьеса для воробьиных и галочьих мелодрам.

Музыка не удаётся, толстая плёнка морщится;  
Морщится толстая плёнка на сломах бетонных плит.  
Вдоль по бетонным плитам проволока волочится.  
Проволока играет, проволока звенит.

Звенит, потому что Пасха, а значит у каждого Пасха:  
у каждой смешной сороки, у каждого муравья,  
у каждой брошенной куртки,  
у каждой засохшей краски  
тоже, наверное, Пасха, только совсем своя.

Своя особая Пасха, Пасха для нелюбимых,  
Пасха тщедушных, порочных,  
битых по нашим грехам.  
То, что колеблемо ветром, то, что поколебимо,  
порушено и непрочно, то подлежит стихам.

## Тщета

А что такое мемуары?  
да так — фигуры.  
Неторопливые кошмары  
кристальной дуры.

Многозначительных котов  
хоронят мыши.

— Глянь, диктофон готов?  
— Готов.  
— Ну, пишем.

\*\*\*

Вроде ещё разбег,  
а вроде уже ползём:  
вот это ещё человек,  
а это уже чернозём.

А это опять человек  
только совсем другой.  
Вроде закончился век,  
вроде продолжился бой.

Вроде такая дрянь,  
что вообще никуда.  
А вроде цветёт герань  
и в лужу летит звезда.

## Галина Колесникова

Родилась в с. Мормыши Романовского района Алтайского края. С 1970 г. живет и работает в Барнауле. Публиковалась на страницах журналов «Алтай», «Наш современник», «Волга – XXI век», «День и ночь» и др. С 2004 по 2010 гг. руководила Алтайской краевой писательской организацией. Автор десяти поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2009). Член Союза писателей России с 1994 года.



## Отпели метели

\*\*\*

Дни сочтены. Истаял календарь  
земной судьбы... С заботами и снами.  
Мы вспоминаем тех, что БЫЛИ нами  
в любой июль или любой январь!  
ТАМ Озеро! Там снега громадьё!  
И там, куда ни глянешь, — всё моё!  
Какой простор для сердца и ума —  
хоть замки возводи, хоть терема!  
А дома вкусно пахнет из печи —  
там мама выпекает калачи,  
там грядки не прополоты пока...  
Колдует мой отец у верстака,  
и бабушка — сурова и стройна...  
Всё — за чертой, за хрупкой кромкой сна,  
где лампы свет, где вся семья с тобой!  
...Где смерти нет! Есть счастье и любовь!

\*\*\*

Это страшно — вот так, без следа  
стать частицей земли на кладбище...  
Не о том ли мне шепчет вода?  
Не о том ли ветра нынче свищут?  
А моя горевая душа?  
А мои мормышанские дали,  
где жила я, любя и спеша,  
где меня земляки узнавали?  
Ветер вольный, живая вода,  
оттого мне не пьётся, не спится,  
что боюсь стать землёй навсегда...  
А верней — её малой частицей...

\*\*\*

*Брату Юрию*

Такое чувство, будто ты ушёл...  
Ушёл вчера, но обещал вернуться.  
А я гадаю на небесном блюдце —  
тебе там плохо или хорошо?  
А я скучаю и смотрю в окно  
на тропку, что ведёт к родному дому,  
где жили мы с тобой давным-давно!  
Когда ещё всё было по-другому —  
деревья были выше и дома...  
А в лужах голубых купались гуси...  
Но разлучила нас судьба сама...  
И ты ушёл, чтоб больше не вернуться.

\*\*\*

Всё, что раньше я любила,  
всё, чем раньше я жила,  
с белой рученьки сронила,  
словно капельки с весла...  
Сохнут вёсла — словно крылья —  
над уже чужой водой.  
Руки замерли в бессилье  
между счастьем и бедой...

\*\*\*

Вот и облетает с яблонь цвет.  
Только был, а глядь-поглядь — и нет!  
Лепестков ажурных кружева  
как замороженные слова,  
как из детских сказок волшебство —  
вроде есть, а вроде нет его...  
И по тем словам я, как в бреду,  
от самой себя к себе бреду...  
К той, что и беспечна, и смела,  
словно эти яблоньки, цвела...

\*\*\*

Хочу назад, хочу домой,  
где пахнет мятой и душицей.  
Где серебрится голос мой,  
где мне — от чьих-то глаз — не спится.  
Там фартук — мал, учитель — строг,  
на шее галстук — ало-ало!  
Там я о том, что мир жесток,  
вот так жесток, не понимала.  
А если плакала порой —  
так значит, сон дурной приснится...  
Хочу назад. Хочу домой,  
где пахнет мятой и душицей...



## Наталья Лясковская

Родилась на Украине, в городе Умани. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист. Автор книг стихов и прозы для взрослых и детей, в том числе «Сказки о варежках и бабушках» (2014), «Сильный Ангел» (2014), «Матрона Московская» (2016) и др. Член Союза писателей России. Член Совета Международного Союза православных женщин. Живет в Москве.

## ЛЕСКОВ

### Глава 3 Панин Хутор

*Продолжение. Начало в №№ 1, 2*

Детские впечатления чересчур драматизированы «неукротимым беллетризатором», Лесков переживает, «давит на жалость» — без сомнения, из самых благородных побуждений, желая привлечь читательское сочувствие к горестной участи «жидов» и их детишек. Эта первая встреча с «гонимыми» глубоко врезалась ему в память и в сердце. Обретя мощь общественного голоса, он без промедления выступил на защиту всех, кто нуждался в ней: раскольников, молокан, якутов, и, конечно, людей Моисеева закона. Особым светом сострадания в этой толпе, безусловно, высвечивается в творчестве великого русского писателя фигура «интролигатора», покрывающегося «кровавым потом» в страхе за судьбу вероломно взятого в кантонисты единствен-



ного малолетнего сына<sup>1</sup>. Глубину доброты одного из самых своих любимых героев — Голована — Лесков измерил, в частности, тем, что тот «даже жиду Юшке из гарнизона давал для детей молока». Впоследствии автор «Владычного суда», «Жидовской кувырколлегии» и «Ракушанского меламеда» не избежал обвинений в антисемитизме, «довольно, впрочем, темных и смутных как по причине их абсурдности, так и потому, что подобные обвинения бывает унизительно опровергать», — замечает Л. Анненский. Тема эта нами будет поднята позже, пока же ясно одно: Лесков всегда был не на стороне русских, евреев, малороссов, немцев, чухонцев или народов Севера, он всегда — на стороне страдающих и нуждающихся в защите, к какой бы национальности они ни принадлежали.

Однако самыми тяжелыми переживаниями панинского периода, оказавшими глубочайшее влияние на судьбу Лескова, были последствия роковых перемен в характерах его родителей.

Особенно переменялся отец. Семён Дмитриевич после потери «доходного места» и отставки опустил руки, чудил да читал древних римлян. Денег он добыть не умел, и хотя «ходил по полям», распевая: «Помощник и покровитель» и «Волною морскою», да приглядывал за садом и мельницей, хозяин из него был никакой, потому как душа у него к деревенскому укладу не лежала. «Он был человек умный, — оправдывал батюшку Лесков, — и ему нужна была живая, умственная жизнь, а не маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук». Много лет спустя после смерти отца Лесков, горячо отговаривая П. К. Щебальского от намерения бросить литературную работу и заняться виноградарством в Крыму (тогда мода на такие «первертоны» чрезвычайно распространилась, особенно среди последователей учения Толстого), писал: «Отец мой был близок к Рылееву и Бестужеву, попал на Кавказ, потом приехал в Орел,

---

<sup>1</sup> Лесков. Н. С. «Владычный суд» Собр. соч. в 11 т. Государственное издательство художественной литературы, 1957.

женился и, при его невероятной наблюдательности и проницательности, прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, уважение и все, что вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли. Он рассердился, забредил, подобно вам, полями и огородами, купил хутор и пошел гряды копать, но... неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь буколическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга, а потом он и умер, оставив кипы бумаг, состоявших из его переводов Квинта Горация Флакка и Ювенала, деланных им в те годы, когда матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально)». Андрей Николаевич к словам отца присоединил ироническую реплику, с маху обрушив образ «высокоидейного» деда с небес на землю: «Близость Семёна Дмитриевича с Рылевым и Бестужевым известными материалами и сторонними свидетельствами или семейными памятьми оставляется без подтверждения».

Семён Дмитриевич «потерялся», чувствовал себя «прочно забытым», не зная, куда себя приложить. Он даже пошел «на малодушные уступки общеизвестным слабостям человеческим»: «У Ададуриных “пили”, а мой отец и Илья Кривцов “чудили”. Оба были люди очень умные, жили анахоретами и изнывали в тоске. Илья Иванович, впрочем, тоже, случалось, пил, но только solo, а отец мой все читал книги и хандрил». Такие вот деревенские развлечения. Сын беднягу жалел, внук осуждал: «Еще через два десятка лет, в основе на ту же тему, отец пишет мне из Арнсбурга на Украину, где я проводил летние вакации: “Влечение твое к деревне, и особенно к малороссийской деревне, — вполне разделяю. Это была мечта всей моей жизни, для меня, однако, не удавшаяся, но не знаю — полезна ли была бы деревня для наших характеров и натур, склонных к сосредоточенности и мизантропии. Дед твой, на которого похожи нравом я и ты во всех основных чертах, кроме видоизменений в духе времени и окружающих условий, был на счету людей высокого и светлого ума, пока кипел в житейском котле непрерывных столкновений, а уединясь в деревне — опустился и заглох».

«Опустился и заглох» Семён Дмитриевич на удивление быстро.

Склад характера тому весьма способствовал: и в благополучные-то орловские времена он легко, с примесью мазохизма, поддавался приступам мизантропии и ипохондрии. Результатом одного из них явилось манифестное «завещание в риторически-высоком штиле». Семён Дмитриевич, подхватив какое-то «явно незначительное», по мнению Андрея Николаевича, недомогание, «почуял свою последнюю минуту» и обратился к пятилетнему первенцу с прямо-таки предсмертными наставлениями:

«Любезный мой сын и друг! Николай Семёнович!

В дополнение завещания моего, оставленного твоей матери, достойной всякого уважения по личным ее мне более известным преимуществам, оставляя сей суетный свет, я рассудил впоследствии побеседовать с тобою как с таким существом, которое в настоящие минуты более прочих занимало мои помышления. Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюдай осторожность, ибо от нее зависит все твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке открывающее пути к счастью; но для приобретения их не употребляй мер унижительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благодетелям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте,

замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утетишь тем меня даже за могилую. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить.

Я хотел бы излить в тебя всю мою душу, но довольно, моя минута приближается. Остальное предпишет тебе твоя мать и собственное твое благоразумие. Рука моя слабеет. Прощай, прощай, мой бесценный, мой единственный сын! Бог тебе на помощь!

Отец твой Семён Лесков.

г. Орел, 1836 года»<sup>2</sup>.

Других учить легко: не пей, не играй в карты, люби мать, «не превознось в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах», уважай деньги, помогай слабым!

А сам-то? «Опустился и заглох».

Да разве ж за такого человека выходила Марья Петровна?!

История ее замужества, на первый взгляд, незамысловата. После того как в 1812 году на Алферьевых обрушилась нужда, Маша старалась помочь семейству как могла: вела хозяйство, шила, занималась рукоделием. Но лучшее, что она могла сделать для облегчения участи Александры Васильевны и Петра Сергеевича — это выйти замуж. Мария Алферьева не была красавицей, зато у нее, как считал Николай Семёнович, «имелась цветущая юность с сопровождающей ее часто миловидностью». По фотографии этого не скажешь: на фоне Марии младшая Наталья и впрямь смотрится красавицей. Но даже если цветущая юность и миловидность имели место, для замужества позарез была нужна еще одна, самая важная комплектующая — приданое. У Маши Алферьевой в приданом числились шесть подушек, две перины, ящик для рукоделия, обеденный сервиз на двенадцать персон, несколько платьев, подаренных сестрицей Натальей, кой-какое бельишко да крепостная девушка Аннушка.

---

<sup>2</sup> Письмо к А. Н. Лескову от 21 июня 1888 г. Архив А. Н. Лескова.

Бесприданницы котировались невысоко. Женихи, считавшие себя «хорошей партией», воротили нос от невест, не имеющих увесистого денежного бонуса к милоте и молодости. Две сестры Марии Петровны к тому времени были уже выданы — одна за богатого, другая за любимого. Положение незамужней девушки, сидящей на шее у родителей, которые и сами-то приткнулись «в приймах» у состоятельного, но «полупомешанного» зятя-«благодетеля», было несладким. Так что когда к Маше посватался «не совсем неимущий и небесчиновный уже Лесков», Алферьевы должны были обрадоваться и всей семьей дружно ответить: «Да!» Они и ответили, но порадовал ли их ответ следователя орловской уголовной палаты?

В молодости Маша Алферьева, по уверению сына-писателя, была романтической и сентиментальной. Рожденная 18 февраля 1813 года, она получила воспитание не в духе времени. После войны с Наполеоном симпатии к французам пошатнулись даже в высшем обществе, в моду вошел стиль а ля рюс, но Машу воспитали по довоенному дворянскому раскладу: она говорила по-французски («Ну, пошла парлекать!» — порой шутил ее муж, «дремучий семинарист»), играла на рояле, приятно удивляла хорошими манерами; умела непринужденно вести легкую светскую беседу, вставляя к месту острое русское словцо или меткое бонмо на французском языке. И, как всякая юная девица, пока реальность не явила себя во всей жестокости, обожала — или делала вид, что обожает — «неземные прозрения», «тонкие движения души», «знаки свыше», вследствие чего порой «возвышала» не к месту отдельные события повседневной жизни. Марья Петровна ухитрялась сохранять девичьи навыки даже в первые годы замужества. Когда сестрица прислала ей переписанные от руки лермонтовские строки про «душу младую» в объятиях Ангела, «магушка, читая эти стихи, целовала меня, и в одно и то же время и улыбалась, и плакала, — писал Лесков, отождествляя мать с героиней незаконченного романа<sup>3</sup>. —

<sup>3</sup> Н. С. Лесков. «Убежище. Роман. Из записок Пересветова». Архив ЦГЛА.

Она чувствовала себя счастливой, что Ангел принес мне хорошую душу, и плакала об ожидающей меня участи. Несправедливо было бы приписывать все это одной ее нервности. Молодые женщины нашего дворянского круга тогда в самом деле были склонны к поэзии и очень легко поддавались ее влиянию».

У Марии Алферьевой была «*idée fixe*» — она чрезвычайно гордилась своим «аристократическим происхождением». Это могло стать препоной к ее браку с чиновником Семёном Лесковым. Мария Петровна с таким жаром убеждала окружающих в своем аристократическом происхождении, что ее старший сын лет до двадцати и сам производил себя в разных справках «из орловских дворян», а однажды даже заказал железную печатку с вырезанными на ней крестом, якорем, саблей, латинским «N» и русским «Л» по сторонам дворянской короны. Шелуха эта быстро слетела, у Николая Семёновича Лескова с годами и в этой области возобладал демократизм и скепсис. Недавний носитель якоря и сабли из комплекта юного мечтателя — к морю и к войне ни Лесков, ни его предки никакого отношения не имели — взялся довольно зло вышучивать «стремление к повышению своей родовитости» тех, кто «сочиняет себе небывалые роды». Он называл свое дворянство «молодым», «колокольным», «незначительным», как в письме М. О. Меньшикову от 10 июня 1893 года: «У нас с вами, оказывается, одинаковое происхождение по линии плотского родства (попы и дворянская захудаль)». Собственное семейство Николай Семёнович крепко приложил в сатирической «заметке о родовых прозвищах» «Геральдический туман», беспощадно развенчав мнимую древность алферьевского корня<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> По итогам статистического анализа состояния орловского дворянства конца XIX в. численность дворянских семейств, уходящих своими корнями в XVI-XVII столетия, составляла всего 37,8%. Эта группа определялась как «коренное» дворянство. В XVIII — первой половине XIX вв. дворянское сословие губернии пополнилось за счет приезжих дворянских семейств, их количество составило 13,9%. Все остальные дворянские фамилии (48,3%) появились в регионе значительно позже.

«Как на анекдот в этом роде, — писал он, — укажу на довольно распространенную в России фамилию, звук которой таков, что все слышат в ней нерусское происхождение и даже прямо чувствуют в ней происхождение итальянское. Эта фамилия, о которой я говорю, есть Алферьевы. Их очень много везде, и в Петербурге, и в Москве, и в Орле, и в Киеве. Были из Алферьевых писатели, поэты, профессора, генералы, но больше всего чиновники и мелкопоместные. Канцелярия старого московского сената считала одно время у себя «целое племя» Алферьевых, хотя некоторые из тех Алферьевых были между собою не родня, а только однофамильцы. Было по Москве много еще и других Алферьевых, и все они были не старые родовитые дворяне, а из чиновников и отчасти из “колокольных дворян”, то есть из духовенства. Некоторые из Алферьевых, разумеется, получили “дворянское достоинство” по “асессорскому чину”, но старого, “родового дворянства”, или особенно дворянства “не по грамоте”, в родах Алферьевских нет. Между линиями же Алферьевых один московский отводок отличался образованностью и другими хорошими качествами, и тут были усвоены уже некоторые приемы родовитой знати. Эти Алферьевы (тоже не дворяне) были по мужской линии Сергей и Иваны, а по изотчеству Ивановичи и Сергеевичи, а женщины Анастасии и Елисафепы (так: Елисафепы — *Н. Л.*) Один из них, Василий Сергеевич, печатавший стихи и посвящавший их своей “Турлиньке”, слыл даже за очень ученого, каковым, впрочем, кажется, не был. Он был чиновник какого-то московского отделения и по русской привычке свое дело считал за неинтересное, а любил заниматься тем, что до него не касалось. Так, например, он, кроме поэзии, любил геральдику и сам был немножко похож на геральдического льва, но женат был на своей служанке. Он “выводил роды” сам или, кажется, при посредстве какого-то московского сих дел мастера. Тогда было сильное геральдическое поветрие, и “выводить родословные” составляло занятие очень благородное и прибыльное». Этот «ученый чиновник» из «пустоплясов, елозящих перстом по герольду», так все ловко провернул, что оказалось: род Алферьевых происходит от знаменитого итальянца

Альфieri<sup>5</sup>. «Моя матушка происходила из этого рода Алферьевых, и мы с детства привыкли знать, что “Алферьевы итальянского происхождения”. И это всем показалось так вероятно и так очевидно, что всяк этому верил и многие по сей час еще верят. О дяде моем, недавно скончавшемся профессоре Киевского университета С. П. Алферьеве, который был смолоду недурен собою, так и говорили, что в нем “видна тонкая итальянская порода”. (А он имел мелкие черты ярославского типа). И везде, где я ни встречал Алферьевых благородного звания, все они охотно сказывались “от Альфиери”, хотя все они между собою не родня и пришли от небытия на свете в различных местах общероссийского рассеяния. Моих московских дедов: Петра Сергеевича, Ивана Сергеевича и ученого Василья Сергеевича иногородные Алферьевы и слыхом не слыхали... Как так повсеместно размножился в России италианец Альфиери, словно еврейский Коген, что и не счесть его потомков?... Долго я этого понять не мог, но случилось мне раз в уездном городке Пензенской губернии, по названию Городище, встретить на оконной ставне надпись: “портново-Алферьев”, и тут я получил вразумление. Сначала я был смущен, за что потомки Альфиери посланы в такую далекую глушь и стали здесь так низко, но дело разъяснилось совсем не так. Я думал, что на ставне двойная фамилия (есть ведь тоже фамилия Портнов и есть тоже некто из этой фамилии, тоже производящий себя из иноземцев и подписывающийся “Портново”, или даже “Портнуво”). Но оказалось, что “портново” — это просто значит портной, а фамилия тому портному действительно Алферьев.

Я любопытствовал узнать, откуда он происходит, а “портново” отвечает:

---

<sup>5</sup>Витторио Альфиери, граф ди Кортемилля (16.01.1749–08.05.1803) — уроженец Пьемонта, автор многих острых пьес, мемуаров, а также сборника эпиграмм «Ненавистник французов», направленного против французского революционного террора. Воспевал «свободу народа», ненавидел тиранов. Приветствовал американскую революцию 1776 года трагедией «Брут I».



— Откуда же может быть наше происхождение, как не просто из мужиков: господа нас от сохи брали и отдавали в город в ученье — вот и все наше происхождение.

— А в деревне у вас, — спрашиваю, — разве тоже есть Алферьевы?

— Как же, — отвечает, — наш весь двор все Алферьевы.

— Кто же вас так прозвал?

— Да как же нас иначе прозывать? Это так шло по закону.

Что еще, думаю, за закон!

— Расскажите, — говорю, — мне, благодетель, меня это занимает. Я вам работу буду давать.

— Очень, — говорит, — благодарен, а что вас занимает — не понимаю.

— Да вот скажите вы мне, вы коренной русский?

— Уж чего русее быть нельзя.

И в самом деле, лицо у него даже будто не лицо, а скорее, что называется, “рожество твоё”.

— Так как же, — говорю, — вам, чистым русским, деревенским людям могло прилипнуть такое чужеземное прозвище?

“Портново́” удивился.

— Помилуйте, какое же, — говорит, — у меня чужеземное прозвище?

— Ваша фамилия — Алферьев?

— Алферьев. Мне другой фамилии и быть не могло; у меня фамилия от родителя.

— Да родителю-то вашему кто ее дал?

— Поп дал.

— Как так поп? Попы крестные имена нарекают, а не фамилии.

— Да ведь это все от одного и есть! Стал поп крестить и нарек Алфер. Как отец с дядей разделились, наш двор и стали “Алферьев двор” звать.

— Позвольте, — говорю, — да разве есть имя Алфер?

— Как же! Дядю звали Вукол — от него пошли Вуколовы, а от нашего отца, от Алфера, стали Алферьевы.

— И что же... ваш отец... именинник бывал на Алфера и прищачался с этим именем?

— Как же! Именинник бывал четвертого августа, за день до Преображения, и причащался Алфером на свое имя.

“Батюшки! Сватушки! — думаю. — Выносите святые угодники!” За всех Алферьевых мне теперь вдруг стало больно и неловко. А что же значат все ученые изыскания моего геральдического деда?.. Мужик Алфер так словно и проглотил итальянца Альфиери, да и размножиться ему по Руси было способнее, чем у себя дома...»

«Кумедная» сия история почти слово в слово изложена и в рассказе «Штопальщик»; только там обыграна другая фамилия — Лапутин, переименованная «на французский манер» — Ла Пути́н, но и «портново» пришлось к делу: профессия главного персонажа — портной.

*Продолжение следует.*

Литературный семинар.  
17-19 июля 2021 г.  
Село Красилово Косихинского района  
Алтайского края

## ДЕТИ ПЛЕМЕНИ

**Я** взял заголовок для этих заметок, слегка изменив название рассказа («Дитя племени», Екатерина Монахова) одной из участниц совещания молодых литераторов, проходившего 17-19 июня на базе научных практик Алтайского государственного университета (с. Красилово Косихинского района). Здесь подобное совещание проходило ровно два года назад, также в преддверии дня рождения Роберта Рождественского, а точнее — в рамках фестиваля имени поэта, нашего земляка. Сразу скажу, мне доселе не приходилось работать в качестве руководителя на таком сильном собрании молодых. Наверно, это закономерно, потому что из традиционного краевого совещания постепенно переросло в межрегиональное, а нынче стало всероссийским. Участники представляли Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирскую область, республику Тыва, Бийск, Барнаул... И еще: это было действительно собрание молодых. Притоку из разных краев и весей вряд ли стоит удивляться: люди соскучились по общению, по таким необходимым

для творцов живым контактам, и здесь надо отметить, что Алтай — один из немногих регионов, распахнувший свои двери для литераторов. Весь мир к этому времени уже получил горькие уроки, когда массовая смерть от эпидемии, переступая через миллионы страдающих и уходящих, стала статистикой и во многом обесценила саму жизнь.

Думается мне, цена слова в сегодняшнем мире несколько не уменьшается. Напротив, если слово в нашем миропонимании было в начале, то есть предшествовало всему, что было сотворено на Земле, то животворящее это начало и поддерживает, а то и спасает наши испуганные души. И мы, дети племени человеческого, не имеем права обращаться с ним без понимания его важности, его силы, его энергии и красоты.

Спасибо организаторам (издательский отдел краевой библиотеки имени В.Я. Шишкова), на их плечи лег гигантский труд по отбору участников совещания, поскольку желающих оказалось очень много. Вот и результат. Рукописи молодых авторов, представленные нынче для обсуждения, были избавлены от нытья, зашоренности, которая сегодня живет во многих молодых людях, неуверенности в себе, похабщины, что так часто встречается в творениях юных. Зато налицо — знание жизни, умение мыслить и живописать, вполне зрелое представление о происходящем. Вы сами убедитесь в этом, читая произведения, которые мы рекомендовали к публикации.

И пусть вас не смутит мрачная картина бытия, присутствующая в лучших рассказах. Такова жизнь, но в этой правде жизни открывается, если внимательно взглядеться, и другая правда. Мир людской, как и прежде, как и во все времена, наделяет детей своего племени сочувствием, добротой, открытым сердцем.

В который уже раз невольно отмечаю, что самые лучшие работы молодых литераторов сотворены на деревенской почве. Видимо, мы еще недалеко убежали и не много лучшего написали, чем наши так называемые деревенщики, литература которых, по словам Валентина Курбатова, стала «Русской Античностью». Он говорил: «И ты всё время вторгаешься в мир, и в тебе больше жизни, чем текста. Потому меня сегодня так ранит, что литература перестала иметь отношение к жизни, перестала быть жизнью,

а стала только текстом. Мне просто тексты анализировать скучно, хочется, чтобы в них вставали рассветы, падали туманы, бежали животные, лаяли собаки, пели петухи... А они теперь этого не делают! Литература большого стиля, как можно назвать сегодня, — Астафьев, Распутин, Белов, Абрамов — были именами общенациональными. Ими можно было перекликаться в ночи, этими именами. Все знали, о чем идет речь... О той мощной земной идее, которая там была. Эта земная идея держала мир да и нас, грешных».

Наверно, нынешняя жизнь дает больше питания уму и сердцу все там же, вблизи земли-матушки, и удивляться тут нечему, как нечему удивляться, откуда столько горечи в юных повествованиях. «Мать России целой, деревушка», — это сказал Николай Рубцов. И как же этой матери досталось во все времена! И детям ее. Последние поколения формировались из остатков войны, из осколков, можно сказать. И если городское мужское население хоть какой-то частью, необходимой для оборонной промышленности, осталось вне кровавой бойни, то село вымело войной начисто. Все досталось деревне — недоед, недород, поборы от всех властей, рабский труд с утра до ночи. Вроде победили, но опять: дай, сдай, отдай!!! И при всем этом душа оставалась чистой, вот как искалеченная и убитая Зинка из названного уже рассказа — небо в глазах, цветы в душе, любовь на всех сирых и убогих. И сегодня, да, да, сегодня! Беды нынче у деревни не убавилось. Самые счастливые на селе — пенсионеры, а другое трудоспособное население вынуждено зарабатывать деньги со своего подворья. Оттого каторжный труд с утра и до утра, резиновые галоши круглый год, руки до земли от тяжелой ноши...

Два рассказа Виктории Татур из Подмосковья («Шитик» и «Танюха») про несчастных людей и являют собой как бы общий портрет той деревни, которая сегодня не нужна ни людям, ни стране. Что касается апокалиптичности повествования, — посмотрите, как через этот мрак и безысходность жизни пробиваются доброта, участие, широта натур. Вот он высший смысл гуманизма — найти в кромешном аду повседневности ясный свет добросердечия. Мы знаем: если в ночи зажечь свечу, ее слабый свет пробьет километры тьмы. Потому здесь и речи не может быть

о пессимистичности, есть жестокая правда жизни и противостояние ей все тех же людей, которые, по словам критика Владимира Куницына, оподляют мир, но и люди же делают его благородным. Безнадежный забуддыга Шитик сжигает собственное жилье, а с ним и последнюю надежду хоть как-то существовать в этом мире. И бросается спасать розовый куст. И здесь нет никакой натяжки, никакого авторского произвола, потому что автор умело рисует целостную картину жизни своих героев.

Нынешнее совещание молодых вселяет надежду, что мы еще увидим талантливых людей на нашей напуганной земле, они своим словом помогут нам прорваться к свету и почувствовать себя детьми племени. Племени веры и надежды.

*Анатолий Кирилин*

## Надежда Келарева

Родилась в городе Онеге Архангельской области. Студентка магистратуры СПбГУ по направлению «филологические основы редактирования и критики». В 2020 году вошла в шорт-лист Национальной молодежной литературной премии, в 2021 году — в длинный список литературной премии «Лицей». Публиковалась в журналах «Двина», «Причал», «Бельские просторы».



\*\*\*

Сколько шагов до квартиры  
Запомнит лестница?  
Сколько ворон  
На запястьях берёз  
Поместится?  
Будет ли май  
Для ожившего слова  
Поприщем  
Или опять сквозь весну  
Ничего не помнящим?  
Или опять безголосо брести  
По сырости,  
Думая, как  
Что-то, кроме молчанья,  
Вырастить?





\*\*\*

Катя исследует архитектуру храмов:  
Это апсиды, а это портал и прясла,  
Это часовня, а это собор, а это...

В детстве  
Платок постоянно спадал на брови,  
Пахло приятно, а мама сказала: «Ладан».  
За упокой и за здравие, ой, упала,  
Надо расплавить внизу, чтобы вставить прямо,  
Ноги устали, зачем целовать икону,  
Имя? Катюша, с утра не пила-не ела?  
И неизвестно, где паперть, алтарь и клирос,  
Бог — это хор, полумрак и священник в рясе  
Или когда босиком по асфальту летом?

Если исследуешь архитектуру храмов,  
Как отыскать Его в каменных белых стенах?

### РодоСловная

Было ли поле,  
Лихой галоп,  
Сон на сухой траве?  
Дедушка курит.  
Чуть выше стоп  
Шишки раздутых вен.

Есть родословная: род из слов.  
Как бы Слова сберечь?  
Прежде — весомые, да снесло  
Время живую речь.

Время не даст сквозь себя прыжок.  
Нам — что Мстислав, что Ной.  
Дедушкин брат воевал. Ожог  
Он называл спиной.

Только заходят под вечер в дом,  
Не отворив ворот,  
Те, кто, живя в чёрно-белых «до»,  
Нас защищают «от».

### Памяти Егора Летова

У Егора тулуп да прибитый куплет к столбу,  
Раскалённая печь да смолистая связка дров.  
Безымянное время наполнит его избу,  
Безымянная речка наполнит его ведро.

У Егора — стихи, а повсюду — таёжный лес,  
И скрипит синим снегом под валенками Сибирь.  
Так уходят скитальцы, к груди прижимая крест,  
Заменяя промышленный хаос на монастырь.

Так уходит уставший пластмассу ломать дикарь  
После вечной весны несмолкающих оборон.  
И теперь у него есть пристанище и декабрь  
Да река, до краев наполняющая ведро.

\*\*\*

Зимой внезапно вспомнишь крики чаек  
И как волною ласково качает  
На горизонте лодки рыбаков.  
И снимешь шлёпки, чтобы босиком  
По шишкам, мать-и-мачехе, ракушкам  
Под тенью сосен к морю от избушки,  
И на сгорающую спину — детский крем.

Сугробами в бесцветном декабре  
Бредём туда, недель не различая,  
За солью на губах, за криком чаек,  
Сплетя июльский берег в оберег.

\*\*\*

Припекает июльским солнцем  
По-февральски седые пряди.  
На скамейке, косою и старой,  
Славно дышится на заре.  
Мне, Анюта, легко живётся  
При таком-то простом укладе:  
Выпью чая из самовара  
Да пошабраюсь во дворе.  
Иногда приберу по дому,  
Приготовлю в кастрюльке кашу,  
Только съем половину, Анна.  
Больно много, когда один.  
Вытру тряпочкой пыль с альбома,  
Посмотрю фотоснимки наши,  
Мы ли это, Анюта? Странно.  
Как мы молоды, погляди!..  
А под вечер в ушах всё звонче  
Смех из кухни, шкворчанье масла,  
Будто снова печёшь оладьи,  
Напевая себе под нос.  
Я шепчу у иконы: «Отче,  
Я был так невозможно счастлив!  
Поскорее бы, Бога ради,  
Мне простилось и отжилось...»



## Екатерина Монахова

Учится в АлтГПУ, ФФ, направление «лингвистика: русский и китайский языки». Увлекается кино, анимацией, рисованием. Живет в Барнауле.

## ДИТЯ ПЛЕМЕНИ

**И**з посеревшего от времени амбара доносилось мычание. Рыжая корова Зорька просила ее подоить, избавить от тяжести.

Проскрипела дверь сеновала и оттуда показалась рыжая голова. Нет, не коровы. Это девочка. На ней короткие джинсы, мужская рубашка, никакой обуви. Короткая стрижка и длинный нос, который как-то нелепо торчал из-под редкой челки. На вид лет двенадцать.

Зинка часто спала на сеновале, и когда она была там, воображала себя королевой поля желтых цветов, которое растянулось за их огородом. Каждую ночь Зина тихонько выходила из своей комнаты и сидела на заборе, смотрела на желто-серые под лунным светом лепестки цветов. А потом засыпала на сеновале, потому что спать в доме было невыносимо.

Утром девочке обязательно надо было вернуться до того, как ее отец Пётр, сухой мужчина, похожий на чупа-чупс, с широкими плечами и длинными узкими ногами, заковыляет по деревянному

полу, до того, как начнет громко кряхтеть, ругнется, и до того, как прольет воду из ушата на пол. Потом он наверняка наступит сухими носками в лужу (нет ничего хуже мокрых носков!), матюгнется, скрипнет зеленой дверью и гаркнет:

— Зинка, поднимайся! Иди Зорьку подои!

Но сегодняшним утром отец встал раньше и увидел свою дочь на крыше сарая.

— Ты чего встала?

— Да так.

— Ладно, иди...э, это самое...как его...

— Я знаю. Подоила уже. Сейчас принесу ведро.

Зинка убежала за молоком, которое оставила в стайке, а отец, разминая затекшие красные после вчерашней драки здоровенные пакши, почесывая спину, зашел в амбар.

Пётр поднял крышку бочки, где хранилось пшено для куриц. Окунув в холодные зерна руку, начал уверенно шарить в глубине по всему периметру. Петра ожидал небольшой «сюрприз» — дочь нашла бутылку браги в его тайнике. И теперь ее содержимое текло по течению местной речки в воды мирового океана. Девчонка опять всё вылила.

— Зинка, где бутылка? — отец издал вопль, полный ненависти и одновременно скорби.

— Какая бутылка, батя?

Зина вошла в сарай. Отец слишком быстро обнаружил пропажу. Зинка рассчитывала, что получит эти оплеухи вечером. Отец с матерью выпивали вчера. Буря должна была начаться позже. Но расчеты оказались неверны.

— Знаешь какая, — зыкнул Пётр.

— Мамка, может, взяла.

— Мать не заходит сюда. Говори, куда задевала! Или опять вылила? А?

— Не знаю я, батя. Ты пей меньше, может, помнить будешь, куда что кладешь, — быстро проговорила Зинка и опустила голову. Потом подняла и с вызовом посмотрела в его глаза, внешне увеличившиеся в размерах. У Зинки глаза были такие же. Большие и ярко-голубые, очень холодные. И взгляд быстрый и острый, словно пуля. Это уже от бабушки.

У отца покраснели щеки. Он стал похож на подвыпившего деда мороза из дома культуры.

Медленно подошел к дочке, наклонился и взял ее за волосы.

— У тебя еще молоко на губах не обсохло так с отцом разговаривать.

Пальцы крепче сжали плечо.

— Пусти, мне больно!

— Больно тебе?

— Отпусти, я сказала!

Слезы.

Отец ударил Зинку по щеке, она лежала в разлитом молоке лицом вниз и, всхлипывая, втягивала носом и ртом жидкую молочно-земляную грязь.

Солнце сделалось ярче и жарче. Земля нагревалась, как будто вот-вот начнет шкворчать, как картошка на сковородке. Зинке напекло затылок. Отец ушел в дом будить мать. Молока с похмелья для них обоих не будет. Зина встала, на секунду в глазах потемнело.

Немного погодя она оправилась и мигом шмыгнула в сени. Встала возле двери и заглянула в щель приоткрытой зеленой с облупившейся краской двери.

Мать сидела на кухне и искала таблетки в аптечке. Она когда-то была «картинной» женщиной. Один художник написал ее портрет на берегу моря, когда она в юности отдыхала в Ялте. Увидел ее и сказал, что у нее удивительное лицо. Картинное. Каждый раз, когда мать выпьет, про это рассказывает, вот уже десять лет. Теперь ее внешность превратилась в картину, не поддающуюся реставрации. Длинные, рыжие и жирные, как мед, волосы. Выплаканные глаза утратили свой оттенок. Желтая шея, кожа сухая, веснушки на плечах и лице, движения потеряли прыть. Она словно потерянная вещь. Непонятно для чего созданная, а теперь лежащая и гниющая в забвении, подвластная лишь времени, которое ее ежеминутно уничтожало.

Тася, так звали мать, вставала поздно, очищала организм от вечернего самогона, согнувшись над унитазом, мылась водой из бочки возле бани, кормила Зину яйцами или вчерашней

кашей, уходила на веранду. Изю дня в день она перебирала коробки со старыми вещами, которые пересылал сюда ее брат из города.

Мать достала банку с манкой, открыла и начала засыпать в кастрюлю. Зина вошла, встала у Таси за спиной. От матери пахло теплом и рвотой.

— Мам...

— Чего?

— Я не хочу отмечать. День рождения. Не хочу.

— Можешь не отмечать. Сиди в комнате. Мы и без тебя отметим.

Девочка дернулась, развернулась и, споткнувшись о табуретку, вылетела из кухни. С грохотом закрыла за собой дверь. Завтра Зине исполнится тринадцать лет.

Девочка вошла в свою комнатку с зелеными обоями в желтый цветочек. На подоконнике стояла трехлитровая банка с чайным грибом. Рядом с окном стенка с книгами. Оленьи рога с гравировкой «Первый трофей Петра Елунина. 1987 год». Зина легла на кровать и накрылась одеялом с головой.

Вот уже вечер. Красные шторы светились от закатного солнца. Зина заснула. Накрыла подушкой голову на всякий случай. Вдруг родители будут орать. В комнату ворвалась мать. Увидев, что дочь спит, она вышла. Спустя несколько минут дверь снова открылась. Медленно вошел отец. На голове кепка с принтом местного продуктового магазина. Конечно поддатый. У него в руках кружка с чаем. Пётр поднял подушку с головы дочери. Он долго смотрел на Зину и вдруг вылил ей на голову горячий чай, как будто полил зачахнувший цветок. Без особой надежды на выживание. Зинка вскрикнула и вскочила.

— Где утюг? — закричал Пётр.

— Что?

— Где утюг? Мать найти не может. Всё дрыхнешь! Хоть бы совок в руки взяла! То носишься целыми днями, а то спишь! Никакой помощи! Где утюг? Ты вчера гладила свои шмотки!

— Какой утюг? Я им не пользовалась!

— Ты в этом доме ничем не пользуешься, кроме моего великодушия!

Отец вышел за дверь. Зинка одеялом вытерла себе голову. И заплакала тихо, чтобы отец не услышал.

Спустя полчаса оранжевый июльский закат болезненно залел. Горизонт залился черно-синей небесной патокой. Казалось, будто бы к вечеру закрапает дождь. Где-то вдали бежали лошади.

Коровы возвращались с пастбища, когда Зинка, окончательно успокоившись, сидела на заборе и думала: что подарить маме. В день рождения Зины поздравляли и ее мать за то, что та когда-то вознаградила Петра за полгода совместной жизни рождением дочери.

Пастух погонял коров кнутом и ревел матом так, что сонные старухи на лавках вздрагивали. Зинка ждала, пока Зорька подойдет к калитке. Мимо шли две бабы в черных платках. В руках у них березовые веточки, чтобы отмахиваться от комаров.

— Зинка, скажи отцу, что Елисеич помер!

— Когда помер?

— Да вот сейчас мимо его дома проходили. Баба Аня пошла к нему за топором и нашла Елисеича во дворе, уже оконечел плешивый.

— Скажу.

Зина задумалась о той скорости, с которой старухи успели переодеться в траурный наряд.

Зорька подошла к калитке. Зина открыла, впустила корову, загнала в стойло.

На деревьях уже появились первые желтые листья среди зелени, хотя только середина лета. Зина увидела на тропинке, ведущей в дом, выпавшего из скворечника птенчика. Она подняла его и спрятала в коробку из-под обуви, валявшуюся у крыльца уже полгода.

В этот момент отец вылетел из сеней и бросил кастрюлю супа на землю. Красный бульон борща впитался в землю, оставив на поверхности травы розовую гущу из картошки и капусты.

— Не буду я жрать это, скотина! На мои деньги живешь, гадина, так хоть мясо стоящее покупай!

Пётр увидел испуганную Зинку, застывшую посреди двора.

— Иди корову дои! Стоит, как столб! — закричал он.

— Бать, не кричи...



— Иди, я сказал! Дня рождения тебе никакого не будет! — он схватил кнут и ударил Зину по ногам.

Она упала на землю. Отец бросил кнут и, открыв ворота резким движением, едва не оторвав ручку, вышел за ограду. Зинка заплакала и побежала за ним.

— Папа, папа, папочка!

Она прыгнула ему на спину.

Он сбросил ее.

Зина упала на колени.

— Папа! Дядя Коля Елисеич помер! — закричала она.

Пётр обернулся и широкими шагами направился к дочери.

— Чего?

— Дядя Коля умер!

— Кто сказал?

— Тетя Лида и Хвостатая проходили, сказали. Баба Аня им сказала.

— Допился черт волосатый...

Он поднял дочь на ноги и повел домой.

— Иди умойся и дои корову, — сказал Пётр, смягчившись. — Не реви, он твой крёстный, расстроится там, на облаках, что ты зря слезы тратишь по его душу, поняла? Всё, иди.

Пётр вошел в сени. Зина подобрала брошенную кастрюлю и, обняв ее, хлюпала носом посреди двора.

Сумерки обняли деревню. Опять поднялся ветер.

Девочка вошла в темную стайку. Кругом паутина, жухлое сено глухо шуршало под ногами. Кошачьи глаза светились на бочке с зерном.

— Кс-кс-кс.

Убежала.

Зина включила свет. Большая лампочка осветила лупоглазую корову, два стойла, сонных куриц и драного смешного петуха с одним глазом. Корова замычала. Девочка взяла шаткий стул из соседнего стойла и дряхлое ведро. Села и начала доить. Из вялого розового соска вытекла коричнево-красная кровь. Зина от испуга вскочила на ноги, случайно ногой задела ведро, оно упало, напугав Зорьку. Корова отбежала в сторону. Зина убежала из стайки.

Девочка подошла к дому. Она вытерла коровью кровь о джинсы и вошла в сени. На кухне не слышно брани, но Зина остановилась у двери и прислушалась, на всякий случай.

Родители были там. На столе стояла бутылка самогона. Видимо, мать узнала о смерти брата отца, дяди Коли.

— Сегодня уже не пойдем. Бабка Аня там распорядилась насчет похорон. Нас и не допустят до тела. Мы же прокаженные в этой деревне. Пьяницы. Завтра, значит, пойдем, поможем похоронить по-человечески. Все-таки брат и собутыльник твой, дубина, — сказала мать.

— Таська, хватит, — пробубнил Пётр.

Отец уже выпил.

— Так я хотел, чтобы Колька на Зинкины именины пришел...

— Больно нужен он мне. Распавать его тут. Царствие небесное! — набожно перекрестилась Тася. Ее лицо с высокими скулами разбухло и покраснело от выпитого.

— Заткнись, стерва! Только он девчонку любил без памяти! А ты... существо! Дочери слов ласковых сказать не можешь. Да и чего уж говорить-то. Вообще никаких слов, считай, не говоришь. Баба без доброго сердца — это бесполезная трата человеческого мяса в канибальских племенах. Да уж и чего говорить-то. Ты мне скажи! Ты мне вот что скажи... Когда ты даешь по коням к своему городскому? — с угрозой процедил он.

— К Андрею я перееду после дня рождения Зинки. А сама Зинка останется у брата в городе. Я ее к Андрею не возьму.

Зинка стояла за дверью и слушала, вся в зеленом свете люстры, которая над ее головой казалась нимбом.

— Ну уж нет. Дома Зинка останется, со мной, — Пётр попытался встать со стула, но не смог.

— Чтобы она всю жизнь, как я, за тобой ходила? Ухаживала за бытовым инвалидом? Нет уж.

Тася налила в кофейный стакан самогона и выпила.

— Так с собой заberi. Забирай! Ты девчонке сердце бьешь! — заорал Пётр.

— Андрею она не нужна. А мне... я новую жизнь хочу начать. Я всё до сих пор жалею, что у матери ее не оставила тогда, когда родила, она предлагала. Теперь уж поздно. Может, я бы давно уже

в люди вышла, а не на кухне с тобой пила каждый день. Эта девчонка и ты мне всю жизнь дерьмом облили.

Зина все еще стояла у двери. Она вошла к себе в комнату с нелепым выражением на лице. Взяла ручку и кое-как нацарапала на листе бумаги: «У коровы кровь идет из вымени. Я ухожу из дома». Зина подсунула бумажку под дверь кухни и выбежала на улицу. Уже наступила прохладная ночь. Кажется, дождя все-таки не будет.

Зина вошла в дом Елисеича. Пахло цветами и сыростью. Затхлостью. Перед Зиной на деревянном столе белое распухшее тело ее крестного. Она видела перед глазами картинку из детства, когда дядя Коля был ее поверенным в играх, когда давал ей украдкой конфеты за обедом. Тогда она воображала его своим другом, но это было не так. Дядя Коля и Зинин отец виделись только за бутылкой. Они не были друзьями. И братьями нормальными тоже не были. На трезвую голову могли поругаться даже из-за «неправильного» цвета футболки одного из них (дядя Коля как-то пришел в розовой футболке, из-за чего братья подрались).

Баба Аня помыла и одела дядю Колю. От него всегда пахло чем-то гнилым. Даже сейчас пахнет, несмотря на то что он только что был вымыт хозяйственным мылом и надушен «Тройным». Но все-таки это уже другой запах. Сладковатый, смрадный и пустой.

Почему-то баба Аня не стала зажигать свет. Три свечки горели на подоконнике, столе и в руках старушки соседки.

— Где Миша, баба Аня?

— Я его к себе забрала на денек. Не знаю, что будет с парнишкой.

— Завтра я приду, заберу его. Пусть у нас поживет.

— Ладно, Зиночка, ладно. Забирай. Старая я. А он вон какой разбойник, секунды на месте не сидит, всё бегаёт, пешком не ходит. Семь лет мальчишке, отец помер, а ему хоть бы хны. Круглый сирота, и сверху и снизу. Что с ним будет теперь?

— А что с ним будет? Он мой брат двоюродный. Мы его семья как-никак.

Зинка сглотнула слюну. Не семья она Мишке. Не будет у Мишки семьи. Потому что и у Зинки не было семьи больше.

Баба Аня ходила по комнате, разговаривая сама с собой, потом вышла во двор. Зина осталась одна с дядей Колей. Она накрыла лицо покойника букетом цветов. Ей казалось, что крестный вот-вот откроет глаза.

В печке трещали дрова. Кошка угрюмо смотрела на Зину из другой комнаты. Девочка позвала ее, но та чихнула и убежала в темноту, куда-то под комод в дальнем углу. Вдруг в комнату молча вошел Пётр. Грязными сапогами по чистому полу прошел прямо к телу. Он пьян. Пожал руку трупу дяди Коли.

— Коля! Брат...

Пётр упал на пол и начал реветь, как ребенок в магазине, когда мать не купила ему новую игрушку.

— Папа! Папа! Вставай, папа! — шептала Зина.

Баба Аня заковыляла к нему с быстротой медведицы, в руках у нее был железный таз. Она вылила на Петра холодную воду.

— Убирайся сейчас же! Не позорься и не пугай детей. Здесь человек умер! Брат твой умер, а ты устраиваешь тут представление! Как не стыдно, паразит!

— Баба Аня, я же... Ты знаешь, что я не виноват... А он? Ну зачем он умер... Зачем люди умирают, когда они так нужны друг другу? Зачем человек умирает, если знает, что у него есть брат, которому некуда пойти, кроме него!

— Еще разговаривает! Язык-то у тебя подвешен, это всем известно! Даже когда бухой! А все равно убирайся отсюда, пьянь! Не позорь дочь! — взревела баба Аня. Кто бы знал, что она так может.

Пришли два патлатых и рукастых сына бабы Ани. Мужики подхватили Петра под локти и выбросили во двор. Зина бежала за ними.

— Оставьте его, сволочи!

— Уводи его отсюда, пока не наподдали! — буркнул один из бугаев.

Пётр плакал.

— Папа, папа, хватит! — отчаянно процедила Зина.

Начали выходить поглазеть соседи.

— Эта бабка Анька всё из его дома вынесла, даже молоко из холодильника! — причитал Пётр. — Даже булавку с подоконника забрала! Они его ненавидели и презирали всю жизнь, Зинка! А меня, его брата, даже к нему не допускают в последний путь проводить! — Он сглотнул слюну и поглядел белыми глазами на дом, осмотрел его как в первый раз и выкрикнул: — Это она убила! Баба Аня убила братку!

— Папа, он умер от разрыва сердца.

— Почему тогда не пускают к нему? Боятся! Боятся, твари! Почему выгоняют, а?

— Папа, тебя никто не выгоняет. Но ты пришел и начал кричать, так нельзя. Папа, давай завтра придем. Люди смотрят.

Зина потихоньку поднимала отца с земли, как огромную переросшую морковь вытягивают из почвы, медленно и не с первого раза.

— Че смотришь, дядя Егор? Выйди помоги! Нет? Ну и иди к черту, — осмелела Зина, почувствовав ответственность за отца.

Сосед дядя Егор тут же спрятался за ограду.

Люди смотрели на отца и дочь Елуниных. Повылазили, как черные блестящие жуки из своих нор, и наблюдали за тем, как тоненькая Зина взвалила на плечи отца и несла по улице. Ноги Петра безвольно тащились по земле, он тщетно пытался ими перебирать. Когда они прошли овраг, Пётр уже перестал плакать и кричать. Он смотрел на небо.

Стало светать. До дома Елуниных оставалось немного.

— Я же тебя как учу, Зинка... Чтобы ты к каждой отрицательной ситуации относилась с юмором! — отец еле ворочал языком. Зина улыбнулась.

Тася открыла им калитку.

— Надо было там его оставить на дороге. Пусть бы сдох.

— Мама, хватит!

Отец упал со спины Зины на землю и захохотал, как бесноватый, с ненавистью смотря на жену. Зина села с ним рядом и смеялась, оскалив зубы в сторону матери.

Тася дернулась и ушла в дом.

— Завтра у тебя день рождения, Зинка! Да? Да! Завтра! Папка тебе такой подарок приготовил!

— Не надо мне подарков, бать.

— Ладно, у меня нет подарка, — признался отец, — но я куплю. Ты же мое единственное дитя. Дитя моего племени. Моего. Не матери. Моего! И дяди Коли покойничка. Вся в него. И в меня. Такая же сильная, бойкая! — он улыбался и лениво разевал рот, путая и теряя в нем буквы.

— Папа, оставь меня у себя. Не оставляй мамкиному брату. Не люблю я его и жену его, стерву профессоршу.

— Это ты ее не любишь, потому что сама профессорша. Сидишь всё стишки строчишь по ночам. А откуда знаешь, что мать к любовнику уходит?

— Она мне сказала, — соврала девочка.

— Болотное существо твоя мать! Больше никто!

— Можно я дома останусь, пап?

— Дочь. Ты же знаешь, какой я человек! Я ведь по пьяни и зашибить тебя могу, не дай бог. У меня же это... неконтролируемая агрессия. У меня оружия куча! Сама знаешь. Я тебе честно говорю. Едь ты к дядьке. Может, человек из тебя получится. Не как твой папка. Я бы тебя оставил дома, но и сам я черт-те что из себя представляю, да и мать не оставит. Она сама знаешь какая. На всех за свою жизнь обижена. Сама виновата. Всегда так, Зинка. За свои поступки нужно отвечать, даже если ты раскаялся и признал их совершенными. Нужно ответить. Даже если уже всё, всё, вроде прощен. Все равно расплата будет. Но слушай меня... Слушай. Я честно тебе скажу. Ты не нужна матери. Она и рожать тебя не хотела. И растила тебя кое-как. Ты, как водичка, все время сквозь пальцы ускользала. Сама по себе выросла. И вон какая стала! Стихи пишешь, по хозяйству соображаешь. Никогда бы не подумал, что у меня ребенок будет... Сильвия Плат! Не читал. Но знаю, что есть такая! Всегда ты была моим детенышем диким, Зинка! Да... А мать забудь. Она злое сердце.

Зина привсталась, обняла отца. Она не знала, правильно ли делает, обнимая его. Но в ту минуту ей казалось, что да. Девочка вскочила на ноги и убежала в дом.

Зина толкнула дверь и вошла на кухню. Мать наливала себе что-то прозрачное в стакан, явно не воду. Зина смахнула со стола стакан. И уставилась на мать, тяжело дыша.

— Ты че? Совсем, что ли? А ну пошла отсюда! — пробубнила мать.

Тася толкнула Зину. Девочка отлетела к стене. Она уставилась на мать. Открывала и закрывала рот. Хотели вылезти оттуда слова, но их было так много, и Зина боялась их произнести, потому что они были честные. И тогда Зина закричала Тасе в лицо, потому что так нестрашно, почти нестрашно. Она закричала самый древний и самый первый звук, букву, которую знали люди и пралюди:

— А!

Тася отвесила ей хорошую пощечину.

— Мама!

Зина упала на колени и обхватила мать за ноги.

— Мама, не отдавай меня никому! Возьми меня с собой. Не отдавай. Возьми. Или отцу оставь. Я схохну там! Я всех ненавижу, мама! У коровы кровь в молоке, отец ее убьет! Кто о Зорьке позаботится? Кто об отце позаботится? Кто о тебе позаботится, мама?

Она редела, как детеныш нерпы, лежа на глыбе равнодушного ледяного снега.

— Зина, Зиночка, всё, хватит! Хватит, дитя! — пьяная мать улыбалась и водила ладонью по голове дочери.

— Мама, пожалуйста! Мне некого больше любить!

— А мне есть...

Зина подняла глаза и увидела лицо матери, которая, кажется, собрала весь остаток трезвости, чтобы это сказать.

— А мне есть, Зина! Ты не нужна мне. Ты славная девочка и сильная и будешь жить у дяди с тетей. И все у тебя будет нормально. Хоть раз меня услышь... Не будь эгоисткой, как отец твой. Ты маме всю жизнь испортила. Так. Дай. Ты. Маме. Пожить. Спокойно. Зинааа! — она начала трясти голову дочери из стороны в сторону и бить по ней, вдалбливая каждое слово.

Зина лежала на полу. А Тася, успокоившись, безучастно налила в стакан самогона, выпила и ушла перебирать очередную коробку с барахлом.

Дождливое белое утро наступило. Елунины завтракали на кухне. Отец ел кашу и периодически засыпал за столом. Мать сидела, уставившись в тарелку, в которую упала и барахталась зеленая трупная муха. Зина смотрела в окно на проплывающие мимо их крыши тучи, на коршунов, пролетающих над садом.

После вялого поздравления с днем рождения Зина спросила:

— Мы на похороны пойдем?

— Конечно, пойдем. А ты не пойдешь, — прогудел отец.

— А че это я не пойду? Он мой дядя.

— Слушай отца. Не надо тебе ходить, — резко сказала Тася.

— Но...

— Будешь дома сидеть с Мишкой, я сказала! Баба Аня его сейчас приведет. Поняла? Не на что там глазеть детям. Посидишь с братом двоюродным. Вы вчера уже там с отцом выступили. В глаза людям совестно смотреть. Хуже, впрочем, и не стало. И так уже...

— Поняла.

Зина вышла из-за стола. Она прошла через огород, перелезла через трухлявый поломанный забор. Девочка босыми ногами встала на землю огромного желтого поля сурепки. Подул быстрый и теплый ветер с востока. Разворошил рыжие волосы Зины. Она стояла и смотрела на лес, который темнел узкой полосой впереди, на лепестки этих желтых, совершенно обычных цветов.

«Я не ребенок! — думалось ей. — Я такая взрослая, что взрослее всех взрослых. Я сумею позаботиться об отце и о себе тоже. Я очень взрослая. И буду дальше взрослеть с каждым днем. Хотя знаю, это того не стоит».

Зина насобирала букет сурепки и вернулась в пустой дом. На столе записка, что мелкого Мишку приведут позже, после поминок. Или к вечеру.

Мать и отец вернулись после обеда с пустыми головами и наплетенными на поминках желудками. Они торжественно прошептались, запинаясь о воздух, в комнату к Зине и пафосно распахнули дверь.

— С днем рождения, дочь! — промурлыкал отец.

— С днем рождения, Зина, — сухо сказала мать, затем, словно опомнившись, подошла и поцеловала ее в лоб.



— Спасибо, — буркнула Зина.

— Пойдем, пойдем быстрее на кухню. Сюрприз! — отец был в возбужденном состоянии.

Они вошли, на столе стояли две бутылки самогона, торт из местного магазина с мастичными лебедями и сборник стихотворений Евтушенко.

— Я сама купила, — гордо проговорила мать.

— Спасибо, мама!

— Не за что! Для тебя всё что хочешь сегодня.

Они сели за стол.

Мать порезала торт и разложила по тарелкам. Налила себе и отцу по стакану. Зине налила яблочный компот. Зина задула свечи. Ничего не загадала.

— Мам?

— А?

— Ты сказала, всё, что я хочу, сделаешь сегодня?

— Меру только знай.

— Я хочу остаться с папой.

Тася глубоко вздохнула.

— Девочка, твой папа алкоголик и психопат, я же хочу, чтоб ты дожила хотя бы до четырнадцати лет и получила паспорт, хорошо? Отец не знает, как растить детей. Он ничего не знает, кроме того, как открывать бутылку пива зубами.

Пётр сидел красный и насупленный, как бык.

— Тогда можно я поеду с тобой! — в отчаянии закричала Зина.

— Андрей хочет своих детей. Тебе будет лучше с дядей. С Мишей вместе поедете послезавтра к нему. Хватит об этом. Последний раз повторяю. Мне и отцу уже надоело это слушать.

— Хорошо. Я поняла, — она произнесла это и на несколько секунд задумалась. — У меня есть кое-какой подарок для тебя, мама.

Зина вышла из комнаты. Через несколько минут она вернулась с накрашенными губами и в праздничном платье. Она слащаво улыбалась родителям во все зубы. В руках у нее был желтый листок бумаги. Зина сияла, как стеклышко на свету. Девочка залезла на шатающуюся табуретку и, широко открывая рот, начала громко декламировать:

— Я могу спрыгнуть с крыши,  
С моста могу я упасть,  
Чтобы быть только тише,  
Чтобы маме моей не мешать.  
Не злись на меня, моя мама,  
Не держи обиду скую зря,  
Не дойдёт с того света моя телеграмма,  
Будешь радоваться втихаря.  
Можешь убить меня ночью,  
Можешь убить меня днём!  
И тогда ты останешься с мужиком своим только вдвоём!  
Прости меня, мама, глупую,  
За всё ты меня прости,  
Не злись на меня больше,  
И не грусти!  
Ты только записку мою последнюю,  
Пожалуйста, эту прочти!

— Мама, спасибо, что родила! Спасибо, что выбрасываешь меня, как котенка, на улицу!

Пётр захопал.

Зина закончила стихотворение, поклонилась, слезла с табуретки. Развернулась и собиралась было уж выйти из комнаты, как вдруг Тася схватила девочку за подол платья, повалила на пол и начала бить по лицу.

— Ты, маленькая дрянь! Я ради тебя жизни себя лишила! А ты!

Отец сидел за столом молча, сжимал в руке бокал. Его лицо выражало спокойствие. Такое спокойствие бывает только перед «бурей». Он тихо встал из-за стола, прошел мимо дочери и жены и вышел во двор. Секунд тридцать спустя он вошел с ружьем, нацеленным на дерущихся.

— Встали обе! — заорал он.

Тася и не взглянула на Петра. Он выстрелил в потолок. Со стены рухнул шкафчик с посудой. Зина отползла от матери к печке и съежилась, испуганно вытаращившись на Петра.

— Ты такие слова матери почему говоришь? — обратился он к Зине. — У тебя тоже нет сердца. Совсем как у нее. Я думал, мы

посидим нормально, как нормальные! Как семья! Но нет! У нас у всех нет сердца! — Пётр заплакал.

— Папа, — пропищала Зина.

— Замолчи! Я любил тебя! А ты так поступаешь с нами! — кричал Пётр во всё горло.

Тася подползла к ногам Петра.

— Петенька, опусти! Опусти ружье. Это же Зинка. Ты что, Петенька! Ну всё, всё. Успокойся. Не бери грех на душу. Петя, послушай меня! Петя! Не искушай судьбу, зачем ты судьбу-то дразнишь. Опусти ружье. Опусти.

Она осторожно встала с колен и поцеловала мужа в щеку.

— Ну всё, Петя, всё, опусти, ружье...

Пётр начал было опускать дуло, но вдруг что-то дикое и древнее, чужое промелькнуло в его глазах, и он выстрелил. Пуля отрикошетила. Кукушка из часов повалилась на пол. Ее механическое сердце больше не билось. Зина сидела у печки. Просто сидела на полу. Глаза ее закрылись.

Тася бросилась к дочери, которая была без чувств.

— Ты убил, скотина! Убил дочь! — она плакала.

Зина открыла глаза. И улыбнулась.

— Можно я дома останусь? — проговорила она тихо.

— Ты! Ты! Я ненавижу тебя! — кричала Тася. — У тебя сердца нет, прав отец!

Зина поднялась и села на диван.

В сенях раздался шорох. Вошел темноволосый мальчик в зеленом свитере. В руках у него был водяной пистолет. Он, не разувшись, прошел в зал и сел на желтый, застеленный клеенкой диван рядом с Зиной.

— Здравствуй, Мишенька! Кушать хочешь? — проговорила Тася, повысив тембр голоса и тут же отскочив от дочери.

— Нет, не хочу, на поминках у бати поел, — буркнул мальчик.

Встал. Поднял с пола подстреленную металлическую кукушку и начал ей играть.

— Там вас баба Аня зовет. Какие-то проблемы с документами.

— Дядю Петю? Так он выпил, куда он пойдет, — быстро проговорила Тася.

— Говорит, что срочно.

— Ну хорошо... Петя! Петенька! Пойдем до бабы Ани пойдём, а, Петь?

Пётр все еще сидел на кухне, держа в руках ружье. Он вдруг вспомнил, как пятилетняя Зина каждое утро собирала по пять ягод малины и три из них отдавала ему, а две Тасе. Еще он вспомнил, как она смеялась каждый раз, когда кто-то говорил: «Господи помилуй».

— Если ничего не сделал, то и не надо у Бога прощения просить! — говорила маленькая Зина. Может, и права была.

Пётр и Тася быстро привели себя в порядок и пошли к калитке. Зина все это время сидела неподвижно на диване и смотрела на свои руки. Они были желтые от цветочной пыльцы.

Вдруг она соскочила с места и выбежала во двор вслед за родителями. Миша, не понимающий, что здесь произошло, почему на кухне полная разруха, упал шкаф, часы, табуретки на полу, ружье валяется возле стола, прыгнул на окно и начал наблюдать за двоюродной сестрой.

Зина залезла на забор.

— Мама! Папа!

— Иди в дом, Зинка! — гаркнула Тася. — Мы придем скоро, следи за Мишкой!

— Я жду вас, ладно? Мне вас ждать?! — кричала девочка.

Тася промолчала. Пётр до сих пор был не в себе, бледный, не шел по земле, а просто летел, как приведение.

— Мам! Мама! Мама!

Они шли и шли, их спины скрылись на перекрестке.

Зинка вернулась в дом. Мишка лежал на диване, задрал ноги.

— Что у вас тут было?

— Война, Мишка.

— Понял. Я теперь с вами буду жить?

— Не знаю уже. Мы же уезжаем. Возьмем тебя с собой или нет, еще не решили...

— Куда это вы поедете? — забурчал Мишка.

— В одну страну. Она где-то на востоке. Не знаю, как называется. Но там каждый день — это день рождения. Или Новый год, но никто не пьет. А все только читают стихи друг другу

и поют. Там много желтых цветов, точнее, там только такие цветы растут. Вот туда-то мы и поедем скоро.

— И дядя Петя поедет? Как же он хату оставит? Корову?

— С собой возьмем. И дом и корову. Там все вместе должны быть. Потому что должны... любить друг друга... Ну не любить. А как тебе сказать... Жалеть друг друга.

— Тогда и мне можно с вами. Меня можно пожалеть. Я сирота со всех сторон.

— Да, Мишка. Думаю, можно.

— Ну всё. Значит, еду. Давай поиграем, что ли, Зинка.

— Во что?

— Ну у вас же тут война была. Давай в войну. Я и пистолет взял.

— Только давай на улице. А то и так дома бардак.

Пётр и Тася шли обратно к своему дому. Тася то и дело спотыкалась об острые камни, торчащие на сельской дороге. Пётр был молчалив и трезв, хотя руки еще тряслись и не слушались.

Вдруг Тася остановилась и начала плакать.

— Ты чего, Таська?

— Дура я дура! Господи, прости меня! Господи, почему я жива еще, если допускаю такое!

Она остановилась возле чужого забора, закрыла лицо руками, села боком на корточки, отвернулась от мужа и зарыдала.

— Ты чего это, Таська? Ты ж уже полгода хочешь уехать. А от меня вообще всю жизнь хочешь уехать, с тех пор, как забеременела.

— С чего, с чего! Мишка вон сирота, уезжает. Ему деваться некуда. А Зинка? Родители живы! А бросаем ее... Я ее загублю своим характером. А тебе оставляю, так ты ее загубишь. Ты чуть не застрелил ее сегодня. Почти убил. Побойся бога! Нельзя так шутить и с судьбой баловаться! Бог дал, бог взял!

— Так оставайся, Тася, — он подошел к жене и неловко опустил тяжелую руку ей на плечи. — Оставайся. Ты уйдешь, так последнюю душу у меня заберешь с собой.

— Прости меня, Петька.

— Оставайся, Тасенька.

— Не могу. Не могу тебя больше выносить, Петька. Не могу больше здесь. Матерью ей быть после этого тоже не могу.

— Ладно. Я понял.

Тася повернулась к мужу. Ее мокрое лицо блестело от закатных лучей солнца.

— Пусть Зина у тебя останется. Черт с тобой. Может, пить меньше станешь, если ребенок будет только на тебя рассчитывать. А я... Я, может, и вернусь. Понимаешь, я... Черт... Я хочу пожить по-другому. Хотя бы временно пожить. Немного пожить. Ладно?

— Ладно, — Пётр вытер нос рукавом.

— Пойдем Зине скажем.

Пётр молча посмотрел в глаза Тасе.

— Ладно. Ладно...

Он сорвал с куста лист и тихо начал рвать его пальцами, ставшими вдруг совершенно послушными.

Зина стояла на желтом цветочном поле. Солнце приблизилось к горизонту, вот-вот по нему покатится, как бильярдный шарик по столу, и упадет в ночь. Мишка отдал Зине свой водяной пистолет, а сам побежал зачем-то в дом. Миша сказал ей, что она будет играть за «врага», а Мишка за «русского». Зина посчитала выбор этой роли естественным, потому что, кажется, для всех в этом доме она была врагом.

Мишка вышел из дома. В руках у него было что-то длинное, какая-то палка. Зина легла на землю. Она слышала, как Мишка приближался и пел песню Кати Лель. Ветер то стихал, то снова...

— Зинка, руки вверх, — крикнул Мишка.

Зина вскочила с земли, как игрушка на пружине из коробочки. Такие продавались в цирке. Зинка подняла костлявые пальцы к небу. Локти были все в желтой пылице. Девочка засмеялась. Мишка такой смешной с этим...

— Огонь!

Через мгновение Зинка лежала на земле вся в крови. Она уже не слышала, как перепуганный Мишка бежит к ней, бросив ружье Петра на землю.

Розовые облачка проплывали по едва-едва голубому небу, уже

переходящему в оранжевый закат. Из раны в горле у Зины текла кровь, такая же красная, как у коровы Зорьки из вымени. Но ее было больше.

Мишка убежал. Кажется, Зина слышала, как он кричит: «Я только играл, я не хотел!» А может, ей показалось.

Сильно пахло сурепкой и почему-то домом, Зинкиной комнатой, конфетами дяди Коли, сеном, котенком.

— Запачкала платье, — подумала Зина.

Ее глаза помутнели и, впитав напоследок голубизну закатного неба, закрылись.



## Денис Попов

Родился в 1979 году в селе Усть-Цильма Республики Коми. Проходил службу в пограничных войсках в городе Воркуте. Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает вахтовым методом в агентстве «ЛУКОМ-А-Север», охранником на объектах «Лукойл». Публиковался в журналах «Север», «Начало века», «Радуга». Автор сборника стихов «Лиственничное небо». Живет в селе Усть-Цильма.

\*\*\*

Ни с того ни с сего поутру,  
чуть стесняясь себя, я заплакал.  
Может, Ангел провёл по нутру,  
Словно ветер по стенам барака,

вдруг ладонью.  
Иль что там у них  
вместо рук, у посланников Божьих?..  
Ни похмелья, ни мыслей дурных —  
как проснулся — не чувствовал кожей.

Но заплакал...  
И, глядя на свет  
сквозь окно, улыбался кому-то.  
Точно видел во сне: смерти нет!  
Есть другое, Небесное, утро.



\*\*\*

Снег ложится, как пепел на столик  
В привокзальном кафе «Третий Рим».  
А в снегу — у кафе — алкоголик,  
Будто так и задумано им.

Вьётся пар над макушкой без шапки.  
Или след уходящей души?  
Семят мимо бабы и бабки:  
Дома ждут их свои алкаши.

Смена кончилась, и в окнах «Рима»  
Гасит лампы ночной продавец.  
Не видать над пьянчугою дыма:  
Тоже — видимо — смене конец.

Тяжелеют на холоде веки,  
Будто так и задумано им...  
Замерзают зимой человеки  
По дороге в Иерусалим.

## Глаза

На веках у почивших пятаки.  
У мёртвых деревень глаза открыты.  
Их не прикрыли дети-сибариты,  
Как от огня, сбегая от сохи.

Но если заглянуть — душа жива!  
Что у иной не встретишь новостройки.  
Безвременно погибшие посёлки:  
У всякого церквушка, как вдова.

А памяти в стенах — на сто ветвей!  
Да только вся распущена на нитки.  
Листок, и тот, цепляясь за калитку,  
Краснеет временами за людей.

Мы прикрываем деньгами глаза  
Живых и мёртвых, потому что страшно  
Увидеть в них застроенную пашню,  
Где из-за камня не горит звезда.

### Хождение за три горя

К собственной беде не привыкают.  
С ней живут — не могут без неё.  
В храм идёшь или в кафе, скучая,  
А беда ползёт к тебе змеёй.

«Господи, за что беда такая!» —  
Что это, молитва иль нытьё?  
Умер Абель, стал бедою Каин,  
И беда не зарастёт быльём.

Разделяет с ближними не море,  
Не коронавирус и не МРОТ.  
А беда... Живу я с нею, споря,  
Чтоб понять, как весь честной народ.  
За бедой не ходят за три горя,  
По любви сама к тебе придёт.

\*\*\*

Точно много лет назад,  
вёдрами  
из колодца воду в дом  
маленький  
я ношу, когда снега —  
ордами.  
Я ношу, когда цветок —  
аленький.

Всё проходит! Ничего  
нового:  
тут в дерьме, а там — в меду  
улицы.  
Но у Севера – отца  
Строгого —  
Корни крепкие и не  
рубятся.

Знаю, горькие церквей  
луковки,  
Знаю, узкая в снегу  
тропочка.  
Станет жарко, расстегну  
пугови.  
Станет зябко, покурю  
в топочку.

Всё проходит! Ничего  
нового.  
Снова щёки у Христа  
впалые.  
Я цветы тому, кто мне  
дорог был,  
На могилу положу  
алые...

Солнце плещется в ведре  
рыбкою.  
Загоржусь уловом, как  
маленький.  
И качается земля  
зыбкою.  
И о валенок стучу  
валенком.



## Дмитрий Дергалов

Родился в поселке Тарасиха Нижегородской области. Публиковался в альманахах «Земляки» и «Слово», журналах «Нижний Новгород», «День и ночь». Автор стихотворных сборников «Маленькие одиночества» и «Отражения в стекле часов».

### Поколение застенчивых

Мы с рождения повенчаны  
С вечной истиной святой.  
Поколение застенчивых,  
Не сдавайся же, постой!

Мы с тобой непобедимые.  
Перед нами верный путь.  
Не оставь меня, любимая,  
Сядь со мной передохнуть.

Жизнь трудна и переменчива.  
Лучше шагом, чем в галоп.  
Поколение застенчивых,  
Охлади вспотевший лоб.

Всё забыто, перестроено.  
От самих себя бежим.  
Почему мы так устроены?  
Чем мы в жизни дорожим?

Тишина. Ответить нечего.  
Ну, а мир не пропадёт.  
Поколение застенчивых  
Поведёт его вперёд!

Нас учили быть смиренными  
И друзей за всё прощать.  
Мы клялись родными стенами  
Честь до гроба защищать...

Идеалы все развенчаны.  
Жизнь нас кормит на убой.  
Поколение застенчивых,  
Принимай смертельный бой!

### Свидетель

Он жил на белом свете  
Две тыщи лет назад.  
Он сам тому свидетель,  
Как был Христос распят.

Он сам тому свидетель,  
Как шёл на брата брат.  
Он жил на белом свете  
Столетие назад.

Он жил на этом свете  
Лет семьдесят назад.  
Он сам тому свидетель,  
Как бился Сталинград.

Он сам тому свидетель,  
Что всё пошло на лад...  
Он жил на этом свете  
Мгновение назад.

## Художник

*Валентину Михайловичу Сидорову*

Слова живут в полотнах,  
А живопись — в стихах.  
Прощанье перелётных.  
Прорехи в облаках.

Старательные грабли,  
Луч солнца вдалеке  
И вздох французской сабли  
В старушечьей руке.

Сияющие доски  
И в августе роса.  
И детства отголоски  
Сложились в голоса.

Равнины необъятны  
В величии своём,  
Но небо троекратно  
Покрыло их объём.

Свод радуги проявлен,  
Не угадаешь где:  
Один конец меж яблонь,  
Другой конец в воде...

Вновь брови он насупит,  
Себя лишая сна.  
Он помнит, что наступит  
Последняя весна —

Сирени куст тревожный,  
Застывший силуэт...  
«Не спи, не спи, художник!»  
Не спи, не спи, поэт!

## Слёзы

Осенью, прохладной тихой ночью,  
Чуть начнёт пощипывать мороз,  
Собирают ангелы в мешочки  
Капли детских слёз.

Достают откуда только можно,  
Изо всех щелей и всех углов,  
И несут на небо осторожно  
Хрупкий свой улов.

К небольшому домику в глубинке,  
Где весь день поёт себе под нос  
Мастер, вырезающий снежинки  
Из замёрзших слёз.

## Как ты

Весенний дождик так же красив,  
Его прикосновения так же приятны,  
Он так же,  
гнев в душе погасив,  
Источает прохладу конфетой мятной,

Такой же тёплый,  
так же танцует искусно,  
Такие же светлые в сердце будит мечты,  
Так же кроток, нежен  
и пахнет вкусно,  
Как ты.

## Евгения Гармс

Окончила биологический факультет АлтГУ. С детской повестью «Добрый ноябрь» победила в краевом конкурсе на издание литературных произведений (2019).

Публиковалась в журналах «Костёр», «Юность», «Фантастическая среда». Живет в Барнауле.



## ДЕПРЕССИЯ ЗИМЫ

**З**има выключила компьютер и потянулась в офисном кресле. Два часа она заполняла отчетные таблицы за первый месяц работы. Забывала цифры в колонки: среднесуточная температура, количество осадков, толщина снежного покрова и прочие показатели, за которые она отвечала.

— Хоть бы секретаря дали, — вздохнула Зима. — Всё сама да сама.

Она с тоской посмотрела в окно, задвинула все ящики стола для порядка.

— Прошел только месяц работы, а уже хочется в отпуск, к морю. Противный Год! Распределил всех якобы поровну. Каждый работает три месяца. Только мне приходится то за Осень выходить, то за Весну. Первая хандрит часто, вторая простывает. Одна я без проблем. Вот и сейчас с середины ноября работаю. Хотя по календарю не мое время. Ладно. Год, конечно, платит за переработку. Но что мне делать с этими премиями? Если к морю не пускают... Да и люди... Люди мной постоянно



недовольны. А у меня нормы, между прочим! Я не сама придумываю морозы и метели. Хоть бы кому-то нужна была...

Зима выключила в офисе свет. Постояла немного в темноте, вглядываясь в городские огни за окном. Она вспомнила детскую забаву: если смотреть на огни прищурившись, то они словно расплываются. Так она любила играть, когда они с мамой возвращались домой по темноте. Зима делала глаза-щелки и любовалась игрой уличных фонарей и оконного света в домах. Она специально покачивала головой, от этого огни принимались танцевать. А еще такой же эффект появлялся от слез.

Сейчас Зима не щурилась. Перед глазами расплывались городские огни в пестрое мокрое полотно. Полотно дрожало и наконец полилось из глаз Зимы. Зима заплакала в голос.

\*

— Эмоциональное выгорание на фоне...

Штатный синоптик пристально посмотрел в ухоженное лицо Зимы, окинул всю ее взглядом, заметил маникюр, пожал плечами.

— Эмоциональное выгорание, — диагностировал он без уточнений.

Больничный в этом случае не полагался, но на три дня разрешился свободный график. Это означало, что можно действовать по настроению. Устраивать снегопады в мае, дожди в декабре и другие погодные катаклизмы.

Три дня Зима плакала дождем со снегом, хмурила брови тучами, лежала без движения или сидела на крыше офисной высотки. Не помогло.

Вымотанный за эти три дня непредсказуемостью «пациентки» синоптик развел руками и прописал Зиме консультацию психолога. Скоро Новый год, дел у Зимы, что снега — выше крыши! А на нее хандра напала. Остается только к людям за помощью обратиться...

\*

Психологом оказалась женщина средних лет. Глаза ее ничего не выражали. «Вот у кого выгорание», — подумала Зима и вздохнула. Женщина поежилась и потянулась за серым пиджаком, но рука ее остановилась в воздухе и вернулась на место.

«Было бы непрофессионально показать свой дискомфорт от клиента», — догадалась Зима.

— Прохладно тут у вас, — произнесла она вслух, обхватив себя руками за плечи, и села в кресло. Психолог еле заметно с облегчением вздохнула и надела-таки пиджак.

— Лиза, — представилась она и приготовилась слушать очередную историю чужого человека.

— Зима, — сказала тихо клиентка, а психолог отчето-то вздрогнула.

Последовала череда вступительных вопросов. Затем Зима описала свое состояние и, словно резюмируя, закончила рассказ:

— Год не отпускает меня в отпуск...

— Год? Это ваш начальник?

— Ну да, — Зима пожалала синими плечами. — Год. — И добавила еле слышно: — Круглый.

— Я правильно вас услышала, во всем виноват ваш начальник?

— Получается так. — Зима прикрыла глаза, опустив белые ресницы. Она намеренно тормозила сеанс психотерапии, не хотела делиться сокровенным с этой женщиной. К тому же Зима знала все эти приемы: уход от ответа, наводящие вопросы, переспрашивание — всё, чтобы пациент сам говорил, сам искал причину и сам нашел. Ее почему-то это раздражало. Открыв глаза, Зима обнаружила, что Лиза пристально ее разглядывает.

— Приемлемо ли для вас сменить род деятельности?

— Нет, — отрезала Зима.

Лиза скользнула взглядом по стене за спиной Зимы.

«Смотрит на часы, — сразу догадалась Зима, — рабочий день-то кончается».

На столе зазвонил телефон.

— Да, мама, привет. Нет, подожди меня, я свожу тебя на прогулку. Сегодня скользко, мама. Пожалуйста, не выезжай сама, дождись меня. Да, варенец куплю. До вечера.

Белые ресницы Зимы встрепенились: надо же, а она тоже живая. Ее кто-то ждет. Мама.

Лиза повернулась к монитору компьютера, набрала что-то на клавиатуре и, глядя на экран, сказала:

— Завтра погода хорошая. Повезу маму за город. Вы любите лес?

— Дааа... — неопределенно протянула Зима. Ее так поразила собственная мысль, что она воскликнула:

— Бедняжка Погода! Вот кто сама себе не хозяйка. И постоянно не в фаворе у людей. Да ну их, людей! А кем они довольны? Чем они довольны? Снег — плохо, чистить надо, ходить трудно. Дождь — плохо, мокнут, простывают. Жара — плохо, дайте тень. Тень — плохо, замерзли.

— Погода? Это ваша коллега?

— Да. Точнее, подчиненная. У Погоды целых четыре начальника. А какая она исполнительная! А как радуется, когда слышит с земли: «Повезло с погодой». Прямо светится солнцем или заходится радугой. А внизу еще больший восторг от этого. Как мало ей нужно...

— А вам? Вам много нужно?

— Мне нужно, чтобы меня любили, — просто сказала Зима.

Она больше не следила за поведением психолога, ей стало все равно, какие профессиональные уловки та использует.

— Мне кажется, вас любят... — осторожно произнесла Лиза. Высказывать свое мнение не входило в профессиональные обязанности опытного специалиста. Ну и что, сейчас ей хотелось быть женщиной, подругой. И она продолжила:

— Зимой Новый год. Мы с мамой очень любим этот праздник, готовиться начинаем задолго. Есть у нас такая причуда: в новогоднюю ночь мы с мамой едим мороженое! Каждой по целому ведерку. И обязательно с вареньем. Я люблю смородиновое, красивый темно-фиолетовый сироп и ягодки, ммм. А мама предпочитает с яблочным повидлом. Мы друг друга не понимаем. — Лиза рассмеялась. — Каждый год обязательно пробуем

друг у друга лакомство и не понимаем! Ну, согласитесь, как можно есть мороженое с густым повидлом сверху?! — психолог, вопрошающе улыбаясь, смотрела на Зиму.

— А я вообще не понимаю, зачем в мороженое что-то добавлять? Только портить. Я люблю сосульки. Знаете, такой замороженный сок. И ничего лишнего.

— А приходите к нам! Познакомлю вас с моей мамой, — предложила Лиза и вкратце объяснила, как найти их дом.

— Насчет прийти не обещаю, Новый год — это день рождения нашего начальника, он устраивает что-то грандиозное для коллектива. Но за приглашение спасибо.

Зима замолчала. Затем тихо добавила:

— Приятно.

— А расскажите, за что вы любите зиму?

Зима широко раскрыла глаза и даже заморгала, отчего с ресниц слетали белые пылинки.

— Ну, я... За что я люблю... — Зима не решалась закончить так странно звучащую фразу. Она поглубже села в кресло. Ей вдруг захотелось забраться на него с ногами. Несколько секунд она колебалась, но потом сбросила туфли, подняла ноги на мягкое сиденье, расправила длинное синее бархатное платье так, что оно прикрывало самые носочки, и обняла себя за колени. Улыбнулась от удовольствия.

— Со мной можно кататься на лыжах. О, этот запах мази для скольжения лыж: смесь дыма, кострового чая и бани. И заливать катки. Обожаю этот звук, когда точат коньки. А еще, когда какой-нибудь мальчишка закинет коньки за спину, пролезет через заборную дыру в парк и катается без спроса, без оглядки, до изнеможения. За белые пейзажи люблю. За узоры на окнах. Вот вы собрались завтра в лес. А зимой в лесу сказка! Сосны утеплили ветки пушистыми белыми шалями. Иногда ветер устраивает вам холодный сухой душ — выигрывает тот, кто в капюшоне. Если повезет, между деревьями в солнечном просвете можно посмотреть танец снежинок. Ветки сосен, как дети, разыгравшись, сбрасывают одежды. Снег спускается на землю облачным столбом. В солнечных лучах он как будто кружится. В детстве я всегда старалась обнять этот столб, а он щедро осыпал меня блестками.

А как приятно укутывать землю. Укрывать снегом корешки, чтобы им тепло, чтобы до следующей весны живы-здоровы.

Психолог кивала и улыбалась. Она представляла себе картины, которые так живо описывает Зима, и отмечала, как та увлеклась, как не разграничивает то, что любит сама и то, за что ее любят другие. Словно одно без другого немислимо.

— Полностью разделяю ваш восторг, — произнесла Лиза. — Зима — очень красивое время года, я считаю, необходимое. Хотите, встретимся завтра?

Лиза поставила сумочку на стол и оглядела его, прикидывая, что ей нужно забрать домой.

— Так как?

— Да. Только я без записи. Я умею приходить неожиданно и не вовремя. Но вы же меня примете? — Зима испытующе смотрела на психолога.

— Да, — ответила Лиза, спокойно встретив взгляд. — Только если я не в отпуске.

Обе рассмеялись.

Зима с Лизой вышли на улицу. Воздух был влажным. Красногрудые снегири хохлились на березе. Небо на горизонте темнело и словно спускалось на землю. Зима глянула вверх идохнула морозом.

— Завтра утром полюбуетесь на плоды своей работы, — загадочно сказала она спутнице.

Ночью Зима подморозила воздух. Влага преобразовалась в кристаллики льда. Иней покрыв деревья, превратив ветки в белые кораллы.

Зима прогуливалась с утра и любовалась своим творением. Небо слепило синевой. Проходя мимо дома психолога, она решила заглянуть в окно. Небольшой частный дом с дымящейся печной трубой в старой части города выглядел экзотично, но среди обступавших его берез и рябин смотрелся очень уютно. Зима вошла в калитку и, подойдя к дому, заглянула в окошко.

Лиза расчесывала пожилую женщину и что-то ей говорила. Та сидела в кресле-каталке и смотрела в окно прямо на Зиму.

«Мама», — поняла Зима.

Женщина мягко улыбалась, глаза ее выражали печаль и любовь. Лиза ловким движением вставила гребень и еще раз провела расческой по седым волосам. Женщина поймала руку дочери и поцеловала ее. Лиза подкатила кресло к окну. Мать и дочь с восхищением и нежностью смотрели во двор на окружающую красоту. Смотрели прямо на Зиму и сквозь нее.

\*

В начале марта Зима-таки отправилась в отпуск. Сделала себе подарок — тур к морю. Долгожданное, такое желанное море. Карское. А там и Северный Ледовитый. Родной.

## ЖЕМЧУЖНАЯ СЕРЕЖКА

**М**ой дед внешне не отличался сентиментальностью.  
Но внутри!

Я замечала нежность в его голосе в те минуты, когда он общался с маленькими детьми. Увлажненные прозрачной дымкой глаза — когда вспоминал молодость, походы с рюкзаком, костровые истории.

Все мы, внуки, прошли через его большие ладони. Ладони морщинились, грубели, покрывались мозолями. А мы выросли, мозолями покрывались наши души и становились непроницаемы для безыскусных, немногословных дедовских ласк. С такими взрослыми дед нежничать не умел.

В тот год мы припозднились с осенними посадками. Привезли откуда-то саженцы уже по первому снегу. Дед взялся их высаживать, копал для лунок обветренную первым холодом землю. Работал неспешно. Переворачивал и разбивал лопатой каждый ком земли, выбирая заодно попадавшие веточки и стеклышки. Наклонившись за очередным корешком сорняка, он заметил маленький перламутровый шарик. Поднял, вытер о куртку, обдул — золотая сережка с жемчужиной! Дед держал ее на ладони. Белый когда-то шарик потемнел, но сохранил перламутровые переливы. Сережка была раскрыта, дужка оттопырена, отверстие застежки забито землей.

Положив локоть на лопату, в распахнувшейся куртке, с покрасневшим от первых ли заморозков или от физической работы лицом дед застыл в воспоминаниях.

Года три-четыре назад он вернулся от внука и, не встретив нашу бабушку дома, пошел искать ее в огороде. Увидел ее ползущей на коленях по грядкам. Она ощупывала руками поверхность земли.

— Дорогуша-бабуша, вот ты где. Я пришел, тебя нет. А ты что это делаешь?

— Я сережку потеряла... Жемчужную. — Бабушка подняла заплаканное лицо. — Они у меня любимые...

— Будут новые! — Дед сел перед ней на корточки.

— Я эти хочу. Мне их мама подарила! На нашу свадьбу. — Она вытирала щеки руками, слезы смешивались с землей, пачкая лицо.

— Будут новые, — повторил дед, убирая с ее лица волосы и целуя влажные глаза. — Купим, какие захочешь.

— Мама сказала, чтобы я их берегла, они дорогие. И счастливые.

— О, милаша моя... Так и попросим в магазине, дайте, нам, мол, самые счастливые сережки. И дорогие. Пусть.

Дед вздохнул, возвращаясь в настоящее.

— Старый я дурче. Так и не купил. Прости, бабуша.

Он отнес лопату в сарай. Переоделся в «парадно-выходное» пальто, коротко сказал: «Можете высаживать. Полить не забудьте». И вышел из дома. Как у всех закаленных жизнью пенсионеров, у деда значились сбережения на черный день. Раньше они старательно прятались в шкафу между стопками постельного белья. Теперь — покоились на сберкнижке. Позитивная психология, утверждающая, что, откладывая на черный день, люди превращают свои дни в серые, здесь уважительно смолкала. Мой дед натерпелся, питаясь картофельными очистками в военные годы, в послевоенные — похоронив мать и не дождавшись с фронта отца. Поэтому ему можно. Можно бояться черных дней, можно делать запасы «на случай».

Он зашел в сберкассу, снял деньги и отправился в ювелирный магазин. Единственный ему известный и, пожалуй, старейший

в городе — «Рубин». Показал пальцем на золотые сережки под стеклянной витриной. Молоденькая продавщица стала хвалить выбор, предлагать коробочку круглую, квадратную, в форме сердечка. Но дед смотрел на женщину с недоумением. Та замолчала, отбила чек. Мой несентиментальный дед зажал золотые дужки в руке. Так в кулаке и принес их бабушке. Протянул и разжал ладонь: «Твои, жемчужные». Бабушка смотрела на него одобрительно и ласково с выцветшей фотографии на чуть покосившемся памятнике.



## Анна Мамаенко

Родилась в Краснодаре. Окончила дневное отделение Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Наш современник», «Литературная учеба», «Донь», «Голос эпохи», «День и ночь» и др. Член Союза журналистов России. Живет в Краснодаре.



### Придуманная звезда

Полями крадётся поезд, тёмный, ночной состав,  
пока не написана повесть и главный герой не стар.  
Пока он на верхней полке уткнулся в подушку лбом,  
ещё не завыли волки в кромешном лесу голубом.  
Пока он сопит в подушку, видя сто пятый сон,  
покорны Луне растущей Овен и Скорпион.  
Входящий и исходящий не смеют штормить эфир,  
пока не проснётся спящий в поезде пассажир.  
Пока он не окунётся в тамбура черноту —  
на высохшем дне колодца придумать свою звезду.  
Тогда, его слову покорны, касаясь древесных крон,  
отправятся с третьей платформы Овен и Скорпион.  
Таинственные Плеяды изменят привычный бег,  
когда их попросит взглядом очнувшийся человек.  
И в небе многоэтажном, где канет он без следа,  
проступит, мерцая влажно,  
придуманная звезда.

## Сон Каиафы

Шорох песков иудейских во тьме остыл.  
Благонadёжные смоквы приносят плод.  
В этой ночи дремучей среди могил  
нет никого, кто смерть свою переживёт.  
Блеют на пастбищах овцы... Суров Закон.  
Лишь на полях Завета растёт трава...  
Каиафе всё время снится недобрый сон,  
будто беглым рабам и жёнам дают права,  
Храм зарастает осокой и камышом,  
плещутся рыбы между семи огней.  
Каиафа чувствует — дело нехорошо...  
Очень плохо дело, если сказать точней.  
Он немеет, как рыба. Песок забивает рот,  
словно ветер приходит язык ему обрезать.  
Если всякий плотник станет учить народ,  
что он скажет Господу, глядя ему в глаза?..  
Просыпается Каиафа, глотая крик,  
и глазами, как в детстве, мокрыми видит он,  
что обрезано всё, что надо, и цел язык,  
и надёжный песок упирается в горизонт.  
Но по коже гусиной продирает его мороз —  
в каждом свитке — побег, растущие между строк...  
И тогда он садится под смокву писать донос,  
чтобы выкосить их под корень в короткий срок.  
Но Господь пустыни и поля Господь — един.  
В стрекотанье песчинок услышать сумеи слова:  
«Встань и иди, мой Лазарь!  
Встань и иди.  
Иди, не оглядываясь.  
Как в небо растёт трава...»

\*\*\*

Меловые холмы  
за окном вагона плацкартного.  
Меловые холмы  
ювенильного моря раскатами.  
Налетают валы,  
разлетаются птичьими стаями.  
Меловые холмы  
в меловом снегопаде растаяли.  
Кистепёрая ночь  
тяжело плавниками ворочает.  
Кистепёрая ночь  
выживаньем своим озабочена.  
Знаешь, как нелегко  
эволюции тяготы вынести?..  
Кистепёрых мальков  
ей ещё предстоит в люди вывести.  
По рассветным холмам,  
проступившим за шпалами-рельсами,  
в разноцветный туман,  
в неизбежное и неизвестное.  
Где снегами звенит  
приближение поезда скорого,  
уплывают они  
своё счастье искать  
кистепёрое.

## Странный маленький зверёк

Странный маленький зверёк не на шутку занемог, плачет, просится на руки, видно вовсе не жилец. Все проходят мимо, мимо... Отворачивают взгляд. Можно их понять, конечно, ведь никто не виноват. Ни один из нас, идущих, совершенно ни при чём, в этой повести, где каждый изначально обречён.

Страшно бедному зверьку видеть мёрзлую треску, что на рыночном лотке разлеглась, как на песке. Только мёртвая треска под ударом тесака больше вызовет эмоций, чем страдания зверька. Боль не прячут по кулькам, ГОСТа нет и ОТК... Нет цены, а значит — смысла в боли этого зверька.

Так приткнётся — не найдут, позабудется в бреду. Будет видеть луг зелёный, тихий-тихий летний луг. Норка, мама, братья, сёстры и постельки тёплый пух... Так тепло, когда все вместе... лапки... носики... хвосты... Звуки колыбельной песни прорастут из темноты. Новый день приходит тихо, на луга выходят «му»...

Только ночь неотвратимо возвращается к нему. Больше ничего не будет, луг и норка далеко. Только чёрные от боли два зрачка и шерсть торчком. Так и сгинет он в грязи, за стоянкою такси. Будет маленький зверёк втоптан в землю тыщей ног.

Встанет радуга на небе. Кто-то скажет: «Это Бог...». Перекрестится и двинет грязью рыночных дорог. Никому и невдомёк — это с нами, сволочами, тихо-тихо попрощался слабый маленький зверёк.

## Дон Кихот и его команда

Рыцарь Дон Кихот Ламанчский лежит под мельницей ветряной.  
Он совершил все подвиги, он умирает, ему пора домой.  
Росинант щиплет тёплыми губами молодую покрасневшую траву.  
Дульсинея знать не знает об этом и готовится к randevu.  
Дон Кихот смотрит в небо высокое, в небе текут облака.  
Он уже не странствующий рыцарь, но об этом не знает пока.  
Санчо Панса врачует раны и на рынке закупает фураж.  
Их обоих знают в конторе и берут на карандаш.  
Их личное дело становится толще день ото дня.  
Опер приходит домой, у него большая семья —  
жена, ребятишки, родители, тёща и пьяный тесть.  
От всего этого оперу хочется на стену лезть.  
А Дон Кихот умирает героической смертью бойца.  
Он не отступил ни разу и во всём пошёл до конца.  
Его Росинант становится лошадиною сиротой.  
Лавочник скоро затарится конскою колбасой.  
Опер закажет пива, нарежет колбасный круг.  
И упадёт головою в слезах на скрещенье рук.  
Он будет пить с Санчо Пансой и сморкаться в его осла  
обо всех невинно погибших и тщете своего ремесла.  
Он будет махать руками и кричать, что они в крови.  
Превратясь в ветряную мельницу, полетит, не касаясь травы.  
От семьи, что висит на шее и вздохнуть ему не даёт,  
он отбудет в края далёкие, где ждёт его Дон Кихот.



## Юрий Кабанков

Родился во Владивостоке в 1954 году. Поэт, критик, публицист, филолог, богослов. Служил на Тихоокеанском флоте. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (1983). Член Союза писателей России. Автор десятка книг и множества публикаций в периодике. Лауреат нескольких престижных литературных премий, в их числе Всероссийская премия им. А. Дельвига (2013), Международная Волошинская премия (2015). Проживает в Крыму под Севастополем, в селе Фронтном.

## «ДУШИ СПАСЕННЫХ ВО ТЬМУ НЕ ГЛЯДЯТ»

*Переписка В. Я. Курбатова и Ю. Н. Кабанкова.  
Продолжение. Начало в № 2, 2021*

22.04.07

Дорогой Юрий Николаевич! Прямо так и пишу — дорогой, — потому что как только получил книги и прочитал Вашего Епифания с обломками «камень преткновенных», на которые упал и разбился, которые упали на меня и раздавили, так тотчас написал Вам электрическое письмо, да, видно, Вы уж сто раз переменяли почту, и оно летит сейчас где-то в волнах эфира, который не знает, что его нет, и однажды будет где-то с изумлением получено ничего не ведающим адресатом. Потому и пишу Вам — на всякий случай — это бумажное рукопашное письмо.

Сейчас прочел еще и «Одухотворение текста», прочитал в Михайловском в заботах подготовки очередного Пушкинского

праздника и вот бесстрашно пишу «дорогой», обнимая в Вас брата по церкви, и тут же смолкаю, потому что уровня Вашего не выдерживаю, высокой серьезности и православной строгости. В нас, псковичах, видно, «жидовствующие» протиснулись в генетику и всё ищут воли, и всё норовят залезть в веру с разумом, с вечным нашим диссидентством. Я посылал Вам в электронном письме малое приложение о своей поездке в Мира Ликийские, из которого Вы тотчас это и увидели. И потом конец восьмидесятых — начало девяностых я провел в обществе, вероятно, известного Вам иконописца архимандрита Зинова, о котором в разное время много писали. Это была школа высокая и строгая. И новая для моего простого православного сердца (я пел в церкви с конца 60-х годов).

Перемены и сейчас болят во мне и не дают мне в храме «развалиться» со всеми удобствами. Всё с тревогой, всё во все глаза. Впрочем, Вы уже, верно, прочли Дневники отца Александра Шмемана и можете представить эту непрерывно бьющуюся мысль, которая спокойна и светла в самой Литургии, но набрасывается с сомнениями, как только услышал «С миром изыдем!». Часто уже и исходишь не с миром.

Вы тверже, спокойнее, непреклоннее и в Вашей таблице выбрали «Одухотворение сознания», а я всё мечусь в «Выборе» — в «притворе», «рефлексии», «мудрствовании». И чем доле стою в церкви, тем более и «мудрствую», вязну в тонкостях «сфумато» и хоть сам на всех углах кричу, что горизонтальный путь истории пройден и пора вверх, пора опрокинуться со знаменем своей Родины и увидеть небо, спросить: что это? зачем мы бежали? и пойти туда! туда! но сам-то всё под горизонтальной перекладиной креста, всё на земле.

Как жалко, что Вы уехали из Тулы. Я там веду в Ясной ежегодные литературные встречи — то-то была бы радость видеться. Для меня радость, а Вы-то, может, только перекрестили бы меня и от меня остался серный дух да кучка пепла с двумя пуговицами. А я бы все-таки побежал на встречу и навстречу. Напишите мне, пожалуйста, по электронному адресу, а я пока буду копить решимость послать Вам одну-две своих легковесных книги. А по эл. почте могу прислать свою «Византию» (путевой дневник разных лет).

С благодарностью Елене Елагиной за чудо встречи. А Вам — за собирающие мою неуверенную душу книги. Ваш Валентин Курбатов.

4.05.07

Дорогой Валентин Яковлевич (уместно даже написать не «дорогой», а «драгоценный», «ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше»)! Исходя из заключенного в скобки — простите мое молчание! Для написания даже короткой весточки для Вас мне необходим определенный настрой, который можно назвать погружением. Житейская центрифуга не дает никакой возможности сосредоточиться: центробежные силы стремятся разорвать в клочья любое «созерцание воды». И никакого здоровья уже не хватает на сопротивление этим силам. Сейчас май, конец учебного года, а у меня с полтора десятка курсовиков и дипломников, и все эти полуфабрикаты сваливаются на мою голову именно сейчас. Простите, если можете, и в дальнейшем — прошу Вас — такие паузы воспринимайте как некие технические неполадки — не более. Несколько неловко ощущаю себя, читая, что «после прочтения «Одухотворения» от смущения спрятал ее подальше с глаз долой, чтобы и самому не попадалась». Пряма-таки «от нашего смущения — вашему смущению».

Пишу это под впечатлением и полученного (по почте) письма, и очередных Ваших «текстов» («Господи, благослови!» и «Между небом и землей»). Тут не ситуация кукушки и петуха, тут всё проще: я так не умею, но хотел бы писать (и думать, и чувствовать) именно так. Хотя заключенное в скобки нас, дерзаю надеяться, и сближает. То, что Вы пишете о религиозной привычке, я не просто понимаю, но болезненно ощущаю сейчас и всегда. Тем более, преподавая на такой специфической кафедре, не уйти от проповеди и нравственных наставлений. А каково сие, так сказать, «в контексте ощущения собственного недостойнства»? Преподаю же я такие предметы, как «Христианство и русская литература», «Религиозно-философская проблематика в русской литературе», «История христианской письменности и патристика» и еще такой забавный предмет, как «Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений». Всё это, конечно же,

154



самодеятельность с моей стороны, поскольку никаких Свято-Тихоновских Православных университетов или Духовных академий не кончал, хотя и преподаю уже восьмой год. В общем (и «короче»), сильно ощущаю наше родство — оттого столь трепетное отношение к Вам. Интересно, что я иногда вычленяю в Ваших текстах «свое». Вот пассаж, прямо относящийся к искусственной, «головной» поэзии (Вознесенский, Бродский и мал мала меньше современного стихотворного модернизма): «Они не проросли в сердце, и они не утешат его в печали и не укрепят в сомнениях. Они могут вызвать слезы восхищения, но не разделят слез страдания. Они — часть речи (у Бродского, кстати, сборник «Часть речи» — Ю. К.), а человек — дитя Слова». Это я в подтверждение своего тезиса «Поэзия — блудная дочь молитвы». Обнимаю Вас. Простите по-христиански. Ваш Ю. К.

12.08.07

Дорогой брат Георгий! «Хожения» Минакова получил и уже написал ему первые восклицания. Многое близко до стеснения сердца, до тайной тоски и смущения — как близко все мы ходим при разности лет и как одинаково падаем и одинаково мучительно выправляемся. И Анину книжку прислал с Вашим послесловием. Она еще вся — отец, вся «мы», вся свет и любовь, вся под защитой. И это чудно хорошо!

3.01.09

Ох (как говорили: увы мне!), Валентин Яковлевич! Опять я в догоняющих, как будто не дорого мне Ваше слово и внимание! Вчера был на соборовании, а сегодня, слава Богу, причастился. Почитай, месяца два носил в себе свинец, а не причащался с самой Иверской. Ну вот и думаю: завтра с утречка сяду, наконец-то Валентину Яковлевичу пишу: такой свинец никакое причастие не снимает. [...] В конце года произошла «нечаянная радость», щекочущая рецепторы самолюбия, а по сути дающая возможность ну хотя бы ненадолго отрешиться от того самого ощущения самозванства. Быть может, Вам это интересно будет в контексте нашего с Вами балансирования «между-между».

«Уважаемый Юрий Николаевич! Обращается к Вам Людмила Луцевич — доктор филологических наук, профессор Варшавского университета — и вот по какому поводу. Меня интересует современная русская псалтырная поэзия, с большим интересом прочитала в Интернете Вашу книгу «Камни преткновенные», сделала попытку ее анализа, считаю ее одним из глубоких явлений русской поэзии 80–90-х гг. [...]» А в следующем письме: «Не буду скрывать, что, когда я обнаружила в Интернете Ваши «Камни», я была поражена и восхищена одновременно. Это было что-то особенное в русской поэзии 80–90-х гг. Многие в самом тексте было для меня неясно (это сохраняется и сейчас), и я не решалась с ним работать, но все-таки любопытство пересилило. Я начала наводить справки о Вас, все, что возможно, добыла из Интернета. Начала интересоваться среди моих коллег, кое-какие сведения получила от них в Москве. Но ни в Москве, ни в Питере не нашла самой книги «Камни преткновенные» [...] Теперь контакт состоялся, а я — «в кусты», честно сказать, трушу. Написала раздел, посвященный Вашим «Камням», но выносить его на авторский суд мне сложно. Ведь для Вас в процессе творчества, по-видимому, важен был сам творческий акт, процесс и весь сопровождающий его эмоционально-интеллектуальный контекст. Я же имею дело с результатом, где много недосказанного, таинственного и, может быть, мною неправильно понятого и осмысленного. Боюсь, прочитаете, и вообще знать обо мне не захотите. Сейчас я «застыла» на уровне освоения «Камней». Хочу пояснить, что я литературовед, а не литературный критик, поэтому у меня несколько иные подходы, чем у критика, для меня важно обнаружить явление, описать его, ввести в определенный историко-литературный контекст, поставить «вешку», обозначить тенденцию, закономерность».

Так что — пусть ставит вешку; может, и не напрасно я землю ел двадцать лет назад! Если хотите, могу выслать этот ее «раздел, посвященный «Камням»» — на целый печатный лист развернулась, спаси Господи! Ну вот, простите, я стараюсь «о своем хорошем», чего о плохом поминать в новом году! Со Светой Кековой подружился заочно... Буду надеяться, что и у Вас, помимо огорчений (и с моей стороны, простите!), были солнечные

блики от текущей воды этой «реки времен в своем стремление...» Не держите на меня сердца. Обнимаю Вас братской любовью. Порадуемся Рождеству, которое «с высоты Востока». Ваш незадачливый богослов Халява.

04.01.09

Ну, брат, Георгий! Ведь это медаль! Да, может, и орден! Георгий, может, за Вашу отвагу перед «преткновенностью». По-моему, работа замечательно умна и обнаруживает хорошее систематическое знание. Поздравляю! Это и правда счастье — быть услышанным так серьезно. Теперь никакие слова об одиночестве не будут оправданы. Перед такими читателями уже отвечать надо. Они и всякую следующую работу будут читать так же строго. И ведь тоже не для упражнения ума только (на таких темах не только ум «греют», а и сердце врачуют), а для выхода к другому сердцу. Ну, уж теперь, как в Варшаву соберетесь (куда теперь Вы без встречи с польскими читателями!), так не забудьте завернуть в Псков-то — он тут по дороге. «Подвсплывете» немного, а то и «кессону» немудрено подхватить — при таком временном перепаде. С Рождеством Христовым! С любовью Ваш В. Курбатов.

13.07.09

Простите, дорогой брат Георгий, не писал долго и сейчас, похоже, толсто-то не напишу. Только сегодня воротился из долгой поездки с Распутиным по зоне затопления Богучанской ГЭС. Наслушались жалоб и плачей, нагляделись на все оттенки гибели и духовного запустения. Красоты навидались, сжимающей сердце, которая будет убита, хотя могла вырастить ангелов и пророков. Дураки-то (и фамилии у дураков есть — одна из них Дерипаска) думают, что коли они мужиков и баб из зоны расселят по городам и паровым отоплениям, то те и свои песни, и память так целиком в новые-то места и привезут. И даже гnevаются на нас — чего это мы мешаем народу хоть на старости лет пожить по-человечески, без заботы о дровах, без мошки и комара, без забот о подножном пропитании. И кого-то уже и убедили и уж немало и старых людей говорят, что дай им разрешение, то они сами бы свои избы и подпалили, чтобы скорей переехать.

А того и в голову не придет, что они потому только и люди, что тут жили и на все это глядели и не забывали дедов-прадедов, которых сейчас переносить не хотят. И уж те песни, что они здесь пели, они не споют. И той речи не упомнят. И станут теми самыми твидовыми пиджаками, торжества которых так боялся Леонтьев. Хуже-то всего, что этого и «умное» начальство не понимает, отговариваясь новыми домами культуры на новых местах. А чё в этих домах, кака культура-то будет прививаться? Мы ведь все дети великих рек, а не водохранилищ, и все наши песни и ремесла, все слова и молитвы простором и волей наших матушек (Волги да Лены, да Камы, да Двины, да Чусовой), нашей девушки Ангары да наших батюшек (Дона и Днепра, Иртыша и Амура) рождены. Загороди-ка прекрасный голубой Дунай плотиной, так напишет ли Штраус свой вальс, чтобы Витька Астафьев улился над ним слезами.

Э-э, да что! Такое брало временами бессилие, что хоть криком кричи. Распутин даже сначала и предварительный план свой звал «Прощание с Ангарой», а в особенно тяжкую минуту даже «Прощание с Родиной». Но, слава Богу, в конце окреп душой и уже при вручении ему мантии почетного профессора Красноярского педуниверситета сказал, что тут — край, что тут уж или мы, или они. И по его решительности было видно, что он бросает вызов, потому что и в человеческом сознании, в светлой-то его, тоже увиденной нами части, увидел ту же готовность перестать уступать насилию сиюминутной выгоды. Опору почувствовал, да и съёмочная группа была с нами крепкая и тоже понимавшая, чего хочет. Глядишь, что-то и подвинется. Ну, и я, Бог даст, когда в себя приду, тоже что-то сложу из своих путевых записок.

Что до «Лит. меридиана», то с благодарностью увижу Ваш текст напечатанным, потому что он и правда не про нас, а про самое, может, сегодня важное и строительное. Пошли Вам Бог сил. Да и мне, грешному, тоже. Ваш порывистый друг.

23.01.10

Дорогой брат Георгий! Компьютер долго матерился, но совладал со всеми фотографиями и с текстом, так что я благополучно посидел в уголке и послушал Вас и Минакова. И даже нет-нет

порывался с выкриком с места, но мои вскакивания и порывания не были замечены ведущими. А вообще ощущение хорошее. Вероятно, вживе и в звуковой записи это еще лучше, но и тут остается ощущение умного «цехового» разговора, которого иногда так просит сердце и которого не хватает на встречах с «просто» читателями. Все-таки нашему брату нет-нет надо поумствовать среди своих, быть понятым в междустрочии, в интонации.

Для себя же подтвердил давно отмеченное сердцем первенство «писанной» поэзии — для глаза, а не для слуха. Умная ее напряженность такова и стилистический строй так сложен, что слухом ты улавливаешь только само напряжение, но не успеваешь развернуть метафору и насладиться самой полнотой мысли. Только думаешь: вот молоток! Надо достать текст. В особенности Ваши «Камни преткновенные», где все курсивы и зияния многоточий так важны, но почти непосильны для звуковой передачи. Но и не только в этих стихах. Это и у Жданова, и у Евсы, и у Кековой, и у многих замечательных поэтов. Как и вообще в искусстве. Я вон смотрел питерских керамистов. Ни одного горшка, а всё небесные тонкости. То керамическое пальто с ботинками, где и шнурки керамические, а то и вовсе надгробие черной глины, покрытое нежным глиняным пожелтевшим и полуистлевшим брабантским кружевом на земляной подушке с живыми цветами, которые зритель должен перед открытием выставки поливать. Это уж вроде черного квадрата в живописи — прощай, простодушная глина! И поэзия — дитя времени — уходит от песни и ясности в тонкое течение сложно одетой мысли. Для Толстого вон и «Капитанская дочка» — «голо как-то». «Другие дни — другие сны — сменились вы, моей весны высокопарные мечтанья». Почему душа нет-нет и рвется в «цех», посидеть со своими, которые уже выработали другой слух и которым «Я помню чудное мгновенье» уже не просто «голо», а «как он сюда попал?»

Спасибо. А работы «богослова Халявы» в «Сихоте-Алине» нужны непременно и со всею резкостью. Время для церкви вообще опасное — она заигралась с «умом» и своеволием, всё хочет от либерализма мира не отстать. А это ей, матушке, прямая погибель.

Я обзавелся зубами после долгого их отсутствия. Есть ими нельзя. Разве улыбаться. И если говорить, то только очень

интеллигентно (послать ни-ни — прикус не тот!). В связи с этим меня третий день принимают за интеллигента и спрашивают о Чехове. Обнимаю Вас. Ваш Рассудительных-Тонких.

24.09.12

Спасибо, дорогой брат Георгий! А то уж и не знаешь что думать... Я всё бегаю взад и вперед. Мало мне Общественной палаты. Выбрали еще в Президентский Совет, чтобы уж не только в Палату не ходить, а еще и в Совет заодно. А то как-то скучно приехать в Москву и не ходить в одну только Палату. Вот и придумываю поводы, как уклониться, потому что до меня ведь ему советовали, скажем, Солженицын с Распутиным — ребята не мне чета. А где результаты этих советов? И Солженицына-то мы ведь и в Думе видели — ему только что не смеялись в лицо. Эти казенные ребята могут послушать нас на досуге, как «художественный свист», — не более. Даже покивают и вечером скажут жене: «Виделся тут с одним. Дитё дитём. Откуда они только берутся?» Я сказал В. И. Толстому, который «приписал» меня туда, что охотно останусь его, Толстого, «советником», а уж туда не пойду. Тем более что как-то незаметно и потерял из виду то, что именуется общественной жизнью.

А за яснополянским чтением и писать разучился. Теперь вот надо восстанавливать «искусство ставить слово после слова» и вспоминать, как складывается щепоть, удерживающая перо, прежде чем перекрестить этой щепотью первое слово. Позавидовал, как умно, точно, властно написал Минаков о Вашей книге. Что значит нераспыляемая готовность ума! «Какая глубина, какая смелость и какая стройность!» Обнимаю Вас. Помогите Господь в обстоятельствах. Ваш Зачитавшийся Друг.

05.09.16

Все мы так с тоской-то, брат Георгий. Я о стихах. Всем она нам сестра. Отними, так и затоскуем. С нею, матушкой, только и чувствуешь себя живым, а светлые-то дни мелькнули, и нет, будто так и надо. Я поехал в Ясную Поляну искать с товарищами решения, что делать с капризниками, которым присуждают Премию, а они всё подыскивают повода отговориться и не приехать, хотя знают,

что условие присутствовать лауреату при вручении обязательно. Так что мы по очереди радуем каждого, что он победитель, а потом «отнимаем» и жалуем следующему, а потом «отнимаем» и у этого (и так уже в третий раз). Теперь надо искать четвертого «победителя» — благо соискателей три десятка и они все могут капризничать, потому что у них уже есть Гонкуровские, Пулитцеровские, а у троих и Нобелевские премии. Во жизнь! Собираюсь в этом году оставить жюри. Нельзя читать столько текстов через силу и не по своей воле. Да уж пора и за собой прибираться, сметать крошки со стола при моих-то летах (77). Обнимаю Вас. Ваш Пунктирный друг.

12.09.16

Дорогой мой Валентин Яковлевич! Спасибо, что откликается — мне, недостойному. С тоской — да, Вы правы, она как та лакмусовая бумажка: есть, значит, живу... Я рад, что Вы оставляете жюри, уже давно думал об этом: нельзя так эксплуатировать-ся! А с кавалькадой не приезжающих на вручение лауреатов — это да! Зачем же было лезть в драку? чтобы подтвердить в очередной раз, что — существую? А Вы крошки-то сметайте, да здравие, какое есть, берегите. Пожалуйста! А я вот Вам очередной опус, мрачноватый немного, но что подделаешь... Обнимаю Вас и молюсь за Вас. Всегда и сердечно помнящий о Вас Ю. К.

22.08.17

Простите, брат Георгий, это я с виду молчу (как Довлатов — выпил в буфете в Луге сто пийсят и на вопрос соседки по автобусу: «Что ж это Вы такой красный?» — ответил: «Это я снаружи, а внутри я либерал-демократ...»). Вот и я «снаружи» молчу, а внутри с Вами не разлучаюсь, потому что ворую и ворую у Вас картинки на свой «рабочий стол». Читать не умею, а вот картинки воровать — пожалуйста. Вот даже решил и Ваш «хрусталик» утешить своими фотографиями — всё свидание. Нашел вдруг «себя» в московском метро на станции «Достоевская» и вздрогнул: в двух ипостасях — «широк русский человек»... А остальное — Елабуга, где я погостил две недели назад, и матушка Москва, и Псков. Ваш В. Курбатов

15.09.17

Валентин Яковлевич, дорогой! Я ведь тоже — не молчу в вашу сторону. Хотя по виду — молчу. Как говорил Маяковский (чего уж теперь после князя Мышкина в роли Валентина Курбатова на стене метрополитена!), — «вашим, товарищ, сердцем и именем...». Правда. Так радостно и утешительно, что Вы у меня есть (ну, такой оборот). Именно «есть» — в том смысле, как у Рубцова: «Филя, что молчаливый?» — «А о чем говорить?» Хотя, конечно же, есть о чем... Тихенько, но постоянно (чтобы каплей камень точить) молюсь о Вас, о Вашем здравии. Насчет Вашего «читать не умею» — я и не надоедаю... Но вот — может, и прочтите в охотку — очень занятный и умный текст доктора философии Валерия Кулешова про мои «Диалоги», — бесконечна эпопея сия. Обнимаю Вас, дорогой брат мой. Здравствуйте и здравствуйте! И я — Ваш...

19.09.17

Какой блестящий текст (это я о Кулешове)! Какое счастье дожить до такого понимания твоего труда! Не грех татуировать на груди и ходить с расстегнутым воротом, чтобы было видно. А сам сижу себе тихонько и помалкиваю. Не пишется. Отделяюсь предисловиями к разным пустякам. Всё будто при деле. Да иногда «модераторствую» (прости Господи) на посиделках в Ясной Поляне или Михайловском. В Москве на книжной ярмарке посидел в соседстве с Норштейном, поторговали каждый своим рядом со своими чучелами работы Николая Ватагина. А в Ясной поваялся на сене с прапра Толстым, разглядывая облака. А перед отъездом домой снял рядом с вокзалом картинку почище хорошо обдуманного плаката — матушка-жизнь тоже, видно, любит «сочинить картинку». Ваш В. Курбатов.

13.06.20

А я, брат Георгий, загнан в насильственный карантин за своеволие и хождение без опаски. Теперь заперт в комнате и на матушку-Россию гляжу из окошка, на ее пятачок в полдвора. И так будет две недели, если я раньше не спячу. «Мойры, как плеть, нависли» и «память съежилась и есть не просит», как я ни пытаюсь



по просьбе своих молодых друзей припомнить начало жизни и вхождение в эту жизнь книги. Увы, старик Альцгеймер заметил меня раньше старика Державина. Я еще сопротивляюсь, но мне уже не быть «стойким солдатиком мысли» — даже не демобилизовался, а комиссовали. А вот теперь бы в заточении-то и складывать строку к строчке и хоть так подтвердить для себя, что жил, а то всё с улыбкой вспоминаю из Шергина: «Марья, у тебя мужик-от был ли?» — «Да вроде, когда щи хлебал, дак бороденка моталась, а так не помню». Но пока буду «шепериться», как говорили на моем Урале в детстве, сопротивляться привязчивому Альцгеймеру. Завидую Вашей Музе — умна, иронична, шутя не поболтаешь — отошьет. Ну, и ладно, значит, и нам грех попадаться ей с незастегнутой ширинкой — будем стареющую спину держать. Обнимаю Вас. Ваш Невольных-Подавленных.

04.07.20

Валентин Яковлевич, дорогой мой! Простите меня безалаберного! Понимаю — мое чувство к Вам нужно почаще поддерживать словом, но не всегда получается. Весточки Ваши — дюже и зело замечательные, и никакого там альцгеймера! Живите! Здравствуйте! Радуйтесь! Пожалуйста... А и есть чему — радоваться-то... Вирус — это морок, наваждение, черная гарь на снегу. А вот — даст Бог — выберемся из-под обломков американского имперьялизма! Как там у Некрасова? — «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе». Хотя — кто ж его знает, Господь располагает... Вот и премию Вам царь-батюшка пожаловал; не знаю, как Вы с Вашим скептическим юмором, а я-таки очень-дюже порадовался. За всех нас! Очень Вы мне помогаете жить — Вашим присутствием, сполна реально ощущаемым. Обнимаю Вас крепко. Здравия и радости — как всегда. И парочку виршиков примите от недостойного графомана.

05.07.20

Спасибо, брат Георгий, за утешение глазу, за весточку, за стихи, за «граммофонную пластинку», танцплощадку, Лолиту Торрес. И жизнь уже вроде не так «пуста, бескровна и скудельна» и гефсиманская молитва не бесплодна, если нет-нет еще вспомнятся

и танцплощадка (о, как мы жадно танцевали в каком-нибудь пятьдесят четвертом-пятом году во дворах вечерами, когда кто-то вытаскивал патефон с пластинками). А там уже и Лолита сводила с ума: «Не прогнать тебя из сердца, но из жизни уходи!»

Вспомнилось, словно поперек стиху, а на деле-то «вдоль». А вообще, душа утешается плохо. «Ковидло» все-таки что-то разрушило в душе. И всякая книжка соискателей «Ясной Поляны» продолжает эту разрушительную работу с такой изобретательностью, что бластные моей молодости кажутся целомудренными детьми. И все так ироничны и брезгливы к тебе, словно именно тебе и пишут: «Пошел вон, старый козел. Твое время истекло. Не мешай нашей свободе, не занимай место». И я уже благословляю старость, что вот скоро Господь приберет меня и отправлюсь к своим старикам, и мы будем уже «оттуда» ворчать на живых, и я буду не один. Прости, брат! Не складывается весточка. Обнимаю. Сбитых-с-толку.

12.08.20

О, Господи! Дорогой мой брат Валентин Яковлевич! Отыскалось «вдруг» (в суете и бестолковости моих житейских пертурбаций) Ваше рукопашное письмо ко мне, недостойному, открывающее эпопею нашего бесценного (и бестолкового с моей стороны) общения. Супруга моя нынешняя (и, слава Богу, навечная, поскольку обвенчались мы неделю как), перепечатала рукописное (драгоценное!) Ваше письмо, и день нынче прошёл под знаком «тоски по Курбатову». Когда бы не хворобы мои перманентные да финансовые романсы (живём ныне — счастливо! — на две малюсеньких пенсии, да уроками кое-что жена прирабатывает), когда б не сии обстоятельства — рванули бы — прям по жару — повидаться! Приходится окорачивать себя.

А письмо Ваше (давно мною не читанное) ввело меня в грустное состояние оцепенения — вины, восторга и стыда — до слез: ну кто я такой, чтобы мне — такие слова?! Дальше — молчу. Так бывает. И чудеса — случаются... Обнимаю Вас — с надеждою, что здоровье не вовсе Вас избегает. Здравствуйте, пожалуйста! Цеплю файлом это Ваше письмо, — полагая, что Вам любопытно будет. И, может быть, ещё любопытно будет, — я на днях

собрал распоследние свои вирши и смастерил «книгу»; я не стал бы обременять Вас, когда б не это письмо: оно подвинуло меня на сию крамольную мысль — обременить Вас сим (ей-богу, не-обязательным!) чтением. Просто подумал: а, может, Валентину Яковлевичу это станет в охотку. Ну а нет — так нет... Цепляю, однако, файл с «книгой» (без всякой «задней» мысли!). На фотке — мы после венчания. [...]. Паки и паки обнимаю сердечно, Наталья кланяется; мы молимся о Вас. Слава Богу за всё!

16.08.20

Спасибо, брат Георгий! Я не поумнел с поры присланного Вами моего старого письма и по-прежнему робею перед Ваши-ми стихами. Евангельская высота Вашего глагола замыкает мои слишком мирские уста — боюсь «не вместить». Обленившееся старое сердце всё ищет пищи помягче. А у Вас строка всегда «набита» через край теснотой смыслов. Герметична для балованного светского слуха. Только шепчешь: «Господи, разверни!»

Эта «явь сокровенная, уставшая быть мечтой», так всё и оста-ется сокровенной, чтобы не обмелеть. Вы естественно и органично живёте внутри псалтыри, Евангелия, месяцеслова и церков-ной истории. У Вас вон и любовь родня «Песни песней» своей страшной подлинностью, которая дается на небесах только гото-вому и собранному храмовому уму. И в каждой строке «Премуд-рость! Прости! и Вонмем!». А нам бы, уловленным «мысленным волком», только бы без труда и даром. Побежал читать «изре-ченное безмолвие» с любовью, бережностью, духовною пользой и благословенной устыжающей неловкостью за свое ветреное суесловие и «обмахивание крестом». [...] С нежностью обнимаю Вас и кланяюсь Наташе и обоим Вас прижимаю к сердцу, счастли-вый вашими царственными венцами. Ваш В. Курбатов.

22.09.20

Дорогой мой брат Валентин Яковлевич, простите — как всег-да — подлеца невольного! Будет мне на том свете «за невнимание и нерадение к ближнему»! Каждый день «мысленно» пишу Вам, ан глядишь — и месяц прошел «в пустых хлопотах»... Кому-то, не столь дорогому, быстро отписки сочиняю, а Вас оставляю

«на сладкое», чтобы без спешки и суеты написать, и вот что получается... Глупые надежды... Да еще — слава Богу — Слава Минаков приезжал в гости, повидались... Так и идет: с утра, покуда силы не покинули, если не написал — всё, до завтра... А еще кой-что по хозяйству надо изловчиться, чай в селе живем; а еще вирши, несмотря на обстоятельства и немощи, wpływают в тебя откуда-то, закручивают волчком — и не отворишься. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, и слава Богу за все. Даже, может быть, снова буду лекции свои по патристике читать. Если силов хватит на всё, дай-то Бог!.. Какая-то копейка была бы, а то устал пенсию считать. [...] Силы мои на исходе, но так радостно мастерить Вам эту весточку! Посылаю файлом целую горсть новых виршей и даже — «критику» обо мне, любимом (Лена Васильева, поэтесса из Владивостока, удивила меня). Обнимаю Вас крепко, Наташа кланяется Вам сердечно. Мы молимся о Вас — даже если молчим. Простите (яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну!). Посети, Господи, милостию Своею раба Твоего Валентина, прости ему согрешения вольная и невольная и сохрани от всякого зла! Здравствуйте, пожалуйста!

23.09.20

Спасибо, брат Георгий! Как завидую Вам со Станиславом — прям в райском саду сидите. И, верно, Муза меж Вами, и Вы не можете послушаться друг друга, потому что читать с листа или экрана — одно, а слышать «глаголы уст» — это слышать адамовым слухом первослово, потому что слово, только произнесенное, есть Слово, а написанное — тень. И какое счастье, что у Вас появился соразмерный критик (Елена Васильева), который (ая) слышит и в начертанном произнесенное, адамово. Берегите ее яко зеницу ока. Тут вернейший слух и лучшее сердце. Редкий сочинитель может похвалиться, что его слышат, тем более при вековечности Вашей Музы, которая не снисходит к нашему слишком короткому слышанию текста. Ах, какой она молодец! И тоже ведь рискует оказаться «не по слуху» нынешним критическим вертопрахам, а вот идет на это, чтобы сохранить свое и читательское сердце в небесной глубине. [...]

20.10.20

Дорогой мой брат Валентин Яковлевич, здравия Вам — и по моим молитвам, надеюсь, тоже. [...] Много всяких обстояний привходящих, которые раздергивают только-только наклеывающееся равновесие. «А не летай, милоч!» Сад в окошке — да; как там? — «за этот ад, за этот бред пошли мне сад на склоне лет!» А до моря — полчаса езды на дребезжащей «Волге», на которой в допотопные советские времена ездил черноморский адмирал Андриющенко (оказались однофамильцы с Наташей, это ее девичья фамилия; и здесь ничто не случайно). Это что касает «моря в окошке». А у меня в окошке — дровник, куда я вчера перебросал купленные дрова (дуб! чтобы зимой не дать дуба). Что до Вашей Ясной поляны — я бы давно прекратил это безобразие, будь на то моя воля! Нельзя же так бессовестно пользоваться Вами! Это я пишу, тщась подвигнуть Вас на решительный шаг; извините, что не в свои сани... А стихи Ваши мне очень нравятся именно пушкинской интонацией (Вы ведь как-то присылали мне и другие). Нравятся — потому что сам так не умею; всегда восхищаюсь тем, что самому не по зубам. А за время моего (эпистолярного) молчания выродился только один виршик, да и тот Наташа не принимает в родные, говорит, из темного источника черпаю... А у Вас источник — светлый. Припадаю к нему. Здравия Вам и, может быть, радости. Обнимаю.

21.10.20

Дорогой брат Георгий! Все я никак не выучусь «Фейсбуку», где хоть и вижу Вас, но скоро погибаю в беге других имен, текстов, окликов и бессильно выключаю: а-а, ну их! Подлинно «сети»: «Тятя, тятя наши сети притащили...» Ваша «Волга» прекрасна — так бы и прокатился. И дрова-то дровами, но и море морем... Вон во Владивостоке оно Вас к китайцам потягивало, а тут уж греки сразу навалились — Понт-то Эвксинский, вот и сбегаются Дедалы и Прометеи, и Вы вон нет-нет Зевесом поглядите — и Платон Вам друг и не ревнует к Истине. Греческой мы веры или как? А мне вон в Москву надо — «Ясную Поляну» вручать. Очень надеюсь, что отпустят, что «исполнен долг,

завещанный от Бога мне, грешному...» По грехам, по грехам, иначе не объяснишь такой напасти. А Ким вон — отец основатель Премии, вышедший из жюри, чтобы получить ее, — изо всех сил рвется обратно, робяты не пускают — больно капризен. И как я ни уговариваю Толстого, но, видно, уж Владимир Ильич так натерпелся, что и слышать не хочет. «Ну, хоть девку, — говорю, — какую возьмите, проза-то уж на две трети женская. И перья, и хвосты, говорю, — будет перед кем распускать, а то чё одни мужики — скука скукой, да и дискриминация». Авось докричусь. А то убегу в Астапово... [...] Ваш В. Курбатов.

*06.01.21*

Эх, как бы я спел сейчас у Вашего крыльца: «Рождество Христово — ангел прилетел. Он летел по небу, тихо песню пел: «Вы, люди, ликуйте! Днесь все торжествуйте — Днесь Христово Рождество!» Но Вы вона где и «между нами снега и снега...», но сердце-то, слава Богу, пока проворнее поездов и самолетов, и можно р-раз — и обняться, и опять сидеть рядышком и распутывать клубки мира, которые запутываются все изобретательнее, и уж скоро их без Господней помощи уже не распутаешь. И это узорочье все витиеватее и, видно, уже не обходится без ревнивого Художника, он же — Князь мира сего. Ну, что ж, встанем в Красный угол и поверим, что если наберем веры с горчишное зерно, то и «возсия миру свет разума» и уже не затмится веки. И «звездам служащие» будут учиться Звездой, восшедшей над яслями. А мы рядышком на высоком месте между волон и ослом. Обнимаю. Пошли за Звездой! Ваш В. Курбатов.

*07.01.21*

Пошли за звездой! Такая радость! Жаль до церкви нынче не добрались. Но все равно Праздник! С Рождеством Христовым, дорогой брат! Я же когда молчу (виноват!), — я о Вас, брат мой Валентин Яковлевич, молчу, так уж получается... Вот, Христос уже нарождается; а два года тому про Рождество писал:

Проснулся резко, аж земля покачнулась:  
«Время пронесится мимо! Незримо  
и — сквозь. Как проникающая радиация...»  
...если без тебя — получается всё к смерти  
(«бытие-к-смерти» — у Хайдеггера);  
а ежели с тобой («тебе навстречь» — о том и речь!) —  
к сиянию Света Безначального,  
ослепляющего Божественной тьмою всякий  
изнывающий от любопытства глазной хрусталик, —  
к Свету Нетварному, к тому самому целокупному Счастью,  
которое, как истина, есть, а не мнится;  
то есть, по сути, — к Самому Господу,  
который не просто «огнь поядающий», как у Иезекииля,  
а Сама Любовь. И тогда — смерти нет.  
Вот зачем Он рождается ныне!  
И вовеки веков.  
Люблю!



## Алевтина Гусева

Родилась в Красноярске. Педагогическую деятельность начинала учителем начальных классов после окончания Красноярского педагогического училища. Пятьдесят лет работала на кафедре философии Алтайского технического университета. Кандидат философских наук, доцент. Живет в Барнауле.

## ЖИЗНЬ — ПОДВИГ

**В** июне 2017 года редакция «Алтайской правды» поместила весьма осторожный некролог: «24 июня 2017 года ушел из жизни заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич». Редакция газеты смягчила удар. Слишком не вязалась трагедия дня с живым обликом удивительной красоты человека. Но с этого момента начала пульсировать живая общественная память. Скоро судьба Цесюлевича станет частью истории и культуры Алтайского края и страны в целом. Его вклад в искусство и духовную жизнь края займет подобающее место. Печально, если для идущих за нами поколений Цесюлевич предстанет, хотя и вполне заслуженно, но только как талантливый художник. Перед светлой памятью Леопольда Романовича ныне живущие и знающие этого человека должны успеть сказать о том, что он больше чем художник, что его служение культуре и идеям семьи Рерихов равно подвигу.

Я попытаюсь, ничуть не умаляя в нем таланта художника, воспроизвести только часть дел, выходящих за рамки



профессионального творчества. Хотя занятие неблагодарное. Как от цельной непротиворечивой личности с хорошо организованным сознанием отнять творческий взгляд на мир и прекрасные произведения искусства, получившие признание зрителей и высокую оценку искусствоведов?

Цесюлевич занимался преподавательской и переводческой деятельностью; на протяжении многих лет исследовал алтайский этап Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха. Был озабочен судьбой коллекции экспонатов по творческому наследию семьи Рерихов. Для этого вел большую переписку с работниками музеев Рериха за рубежом и в Советском Союзе. Леопольд Романович участвовал в основании Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА).

Он выкроил время позаботиться и о студенческой молодежи. Инициировал создание картинной галереи в Алтайском государственном университете. К открытию галереи подарил собственную картину. Прочитал два цикла лекций по просьбе студентов политехнического института о Чюрлёнисе и Рерихе. Вместе с художницей Илзе Р. Рудзите и актером Алтайского драматического театра Сергеем Зубчуком организовывал и проводил встречи с любителями искусства. В основном с молодежью.

Встречи проходили в творческой мастерской Леопольда Романовича. Посетители называли эти встречи «художественными посиделками». Классическая музыка и поэзия классиков сопровождали восприятие художественных полотен. На последних «посиделках» С. Зубчук применил цветомузыку.

Леопольд Романович в 1974 году принял активное участие в подготовке и в съемках полнометражного фильма Рениты Андреевны Григорьевой (скончалась 21 января 2021 г.), посвященного пребыванию Н.К. Рериха и его семьи на Алтае. В Книге<sup>1</sup> Цесюлевич посвятил этому 28 и 29 страницы, поэтому мы

---

<sup>1</sup> Цесюлевич, Леопольд Романович. Понятие о культуре и история создания коллекции экспонатов по творческому наследию семьи Рерихов [Текст] / Леопольд Цесюлевич. — Екатеринбург: Звезды Гор, 2016.

опускаем яркие, радующие сердце подробности. Но хотим сказать, что, несмотря на объективные трудности, съемки проходили в приподнятом, даже праздничном настроении. Участники съемок хорошо понимали, что они совершают великое действо. Казалось, что дух Рериха вместе с ними, что они с благодарностью возвращают долги.

Леопольд Романович испытывал особую радость, когда для фильма снимали сельчан Верхнего Уймона. Вот строки из воспоминаний: «Открытие мемориальной доски на «Доме Рериха» в Верхнем Уймоне превратилось в небывалый, радостный и, видимо, величайший праздник сельчан за многие десятилетия. Шли съемки фильма, выступали районные и сельские представители власти, культурные деятели, учителя школы, дети, пионеры стояли на торжественной линейке. А самое замечательное — сельчане в традиционных русских костюмах создавали яркую красочную картину народного праздника, торжества, возвышенности духа. Ведь в этом действе наконец-то осуществились, хоть на этот один день, чаяния народного самосознания и единения. Праздник был истинным и неповторимым: художник, творец и — любимый им народ, Рерих и Алтай. И мечты народа о счастье».

Этот полнометражный документальный фильм был продемонстрирован в Москве, в 1974 году в Большом театре на торжествах, посвященных 100-летию Николая Рериха. Фильм имел большой успех, его закупили более ста стран. В 1975 году в Барнауле в стенах Аграрного института картина была показана студентам-аграриям и уже знакомым ему студентам политехнического. Когда Леопольд Романович представлял фильм, мы увидели, что он испытывает чувство гордости. Большая значимая работа получила достойное воплощение.

Наряду с этими делами с той же заинтересованностью и ответственностью наш убежденный рериховец принимал активное участие в работе научных конференций, картинных галерей, посвященных Рерихам. Переписка, встречи, научные доклады и статьи, воспоминания — всё подчинено одной цели и одной задаче — восстановить имя Рерихов на Алтае. Подготовить условия для проживания младшего сына Рериха — Святослава (он один остался из семьи Рерихов) — в случае, если тот захочет посетить

места, где в 1926 году жили его родители и старший брат. И, конечно, открыть музей Рериха в Верхнем Уймоне. Последний вопрос потребовал много времени и сил, но пока не решен. Завис. Маловато отпущено средств.

В это же время, по словам Цесюлевича, «дни, недели, поездки по городам», переписка с первым поколением рериховцев были подчинены одной цели — формированию коллекции экспонатов для музея Рериха на Алтае.

Мы перечислили далеко не все шаги и усилия Леопольда Романовича в его миссионерской деятельности. Но на Алтай и в Барнаул он приехал не миссионером, а молодым художником, окончившим Рижскую академию художеств, и после службы в армии. Ехал удовлетворить свои профессиональные планы и творческие амбиции.

Алтай выбрал не случайно, а по совету деятелей культуры, которым безраздельно доверял. Цесюлевич вспоминал, что поэт и философ Рихард Рудзитис неоднократно встречался со старшим сыном Рериха Юрием Николаевичем. К счастью, Рудзитис познакомил с ним студента Цесюлевича. Из тех бесед, из тех мыслей, которыми они втроем обменивались, становилось ясно, что именно на Россию, Сибирь и Алтай возлагаются самые большие надежды для дальнейшего развития культуры. И что именно на Алтае желательно основать музей Рериха.

В воспоминаниях нашего героя большая работа выглядела весьма скромно. Например, крайком партии принял решение о создании музея Рериха на Алтае. Была создана комиссия по организации музея. А скольких лет и усилий потрачено, прежде чем эти решения были приняты?! Сколько встреч, заседаний, сколько переговоров!

В комиссии распределили обязанности. «Передо мной была поставлена задача — собрать экспозиционный материал для музея... Наступил период писем». Не респонденты искали Леопольда Романовича, а он «...писал всем, кто мог хоть что-то дать для экспозиции; всем — в нашей стране и за рубежом».

Вот краткий, далеко не полный перечень отозвавшихся на просьбу. Первым на призыв откликнулся музей Рериха в Нью-Йорке. Многое, наиболее значимое, дали друзья в Риге,

наследники архива Рихарда Рудзитиса; сестры Митусовы представили предметы быта из еще дореволюционной квартиры Рерихов в Петербурге и т. д. Особую историческую и художественную ценность представляет так называемый «архив Шибаева» — личного секретаря Н. К. Рериха.

Работа комиссии подходила к концу, Леопольд Романович предвосхищал, в каком виде предстанет экспозиционный материал, и понял, что не хватает самого главного — для достойной экспозиции музея необходимо Знамя Мира. Оно стало символом движения миротворцев. Без него коллекция не будет полной.

Снова на помощь пришли друзья из Литвы. В Каунасе знакомые врачи, тоже энтузиасты культуры, помогли изготовить Знамя. Известный нейрохирург Юозас Шидишкис обратился с просьбой к своему бывшему пациенту — директору Каунасской фабрики набивного шелка, смог договориться с ним о таком деле. По трафарету Цесюлевича и образцу цвета Знамя Мира было сделано и доставлено в Барнаул. В Книге много имен. Леопольд Романович говорит о них с большой благодарностью за отзывчивость и поддержку в большом деле. Ведь им пришлось расставаться с реликвиями.

Наконец, экспонатов накопилось столько, что встал вопрос о сохранности и о надежной «прописке». Комиссия по организации музея Рериха приняла решение: собранные Цесюлевичем экспонаты временно передать краеведческому музею. В 1983 году передача архива музею состоялась. Леопольд Романович подписал акты передачи, все экспонаты еле вошли в автобус.

Из воспоминаний Цесюлевича: «... идея жила и как бы была задачей жизни... поискам посвящались дни, недели, поездки в другие города». Мало сказать «задачей», стоит уточнить — смыслом жизни. Автор Книги записал: «И над всей этой экспозицией... как мощнейший аккорд идеи висело Знамя Мира Рериха, созданное литовскими друзьями». Нашему подвижнику было приятно сознавать, что миротворческие идеи мобилизуют международные силы.

Реликвии — коллекция экспонатов по творческому наследию семьи Рерихов — обрели надежное место в государственном учреждении. Цесюлевич подводил итоги, он глубоко

осознавал мировую, научную и культурную ценность материалов. Как-то новое поколение рериховцев распорядится непреходящими ценностями? Однажды директор музея Рериха в Нью-Йорке Зинаида Григорьевна Фосдик (она вместе с Рерихами участвовала в экспедиции) заметила: «После разговора с Рерихом остается впечатление, будто побывал в нескольких университетах». Это так. Сколько же университетов прикоснется к наследию семьи Н. К. Рериха?

Большая многолетняя и многотрудная работа по сбору музейных ценностей, казалось, подошла к завершению. Но вот Цесюлевичу стало известно, что сотрудники Горно-Алтайского краеведческого музея тоже хотят иметь материалы по Рериху. «Мне стало ясно, — рассказывал Леопольд Романович, — что надо собирать экспонаты и для них. И тут я с не меньшим жаром взялся опять писать письма всем тем, кто уже что-то прислал для музея. Снова коллекции книг Н. К. Рериха и монографии о Рерихе.

Задачу собирания второй музейной коллекции облегчил мне тот факт, что я все эти годы, собирая экспонаты для музея, всегда старался книги, альбомы, монографии, журналы приобретать не в одном экземпляре, а в нескольких. И так, передача состоялась, документы оформлены, и опять полный автобус увез музейные экспонаты в дар Горно-Алтайскому областному музею».

Все, кто знал и помнит Леопольда Романовича, искренне прилагают его имени, его подвижническому долгу, его чутким душевным качествам. А душа действительно была чуткой и неповторимой. Она была не просто открыта, а распахнута в бесконечность для общения с каждым, кто пожелал прикоснуться к смыслу жизни, к таинству красоты, к науке, к культуре в целом.

Легкий и простой в общении человек, он быстро обращал незнакомца в свою веру и делал единомышленником. В итоге Леопольд Романович жил среди близких по духу, число которых непрерывно росло. Стоило библиотеке им. Шишкова или ГМИЛИКА включить встречу с Цесюлевичем в программу месяца, независимо от темы, люди спешили к нему, чтобы увидеть, услышать, чтобы дышать в унисон с тем, что его волнует. Единомышленники им были узнаваемы и приветствовали друг друга. Хотелось подбежать, обнять и поблагодарить его за щедрость души

и неустанную работу над собой, за постоянное обновление. Он всегда был другой — тот же, но новый.

Поклонники Леопольда Романовича понимают, что люди с такими качествами не рождаются. Всего, чего добился в жизни, всё, что осуществил из задуманного, он создал своим трудом. Жизнь превратил в подвиг. Это верно. Об этом я хотела сказать тем, кто его не знал. Но я считаю нужным признаться в том, что до того, пока не приступила к воспоминаниям, пока не собрала вместе разрозненные впечатления, я не подозревала, сколько сил, энергии, интеллектуальных и физических затрат приложил этот упорный человек, чтобы исполнить свой долг. Попытаюсь ответить на такие вопросы: где истоки и начала состоявшемуся подвигу? Откуда в нем высокий вкус к слову, богатый кругозор, гуманистические ценности? Так вышло? Сложилось само собой? Не уверена.

Прямыми фактами я не располагаю, надо обратиться к косвенным. Надеюсь найти их в личных воспоминаниях во время частных бесед и в мемуарной литературе, в лекциях, различных статьях и, конечно, в искусстве. Через их призму попытаюсь ответить себе на два вопроса: какие обстоятельства жизни оказали решающее влияние на формирование его личности? И какая внутренняя сила настойчиво и непротиворечиво вела его к цели в раннем детстве, в юности и в третий период жизни?

Ключевым фактором формирования личности, на мой взгляд, безусловно, явилась память. Она же стала решающим фактором всей жизни — тем маховиком, который заряжал его неумной энергией в любом возрасте.

На первой странице выше упомянутой Книги автор указывает на гносеологическую закономерность: если хочешь постичь смысл и суть явления, начни с истоков, иди к самому началу этого явления. Грех не воспользоваться мудрым советом. И в соответствии с названной закономерностью отправлюсь к началу жизненного пути, к детству Поля.

Безусловно, Леопольду Романовичу повезло родиться в нравственно здоровой, патриотичной, интеллигентной латышской семье. Именно в ней начала и истоки будущего подвижничества, с детства не прерывающейся активной деятельности. Взрослым

Цесюлевич это хорошо осознавал и, выступая перед школьной и студенческой аудиторией, с теплотой и благодарностью говорил о своей семье и о ее роли в его восприятии жизни. Как талантливый педагог он в молодежной аудитории использовал любую возможность для связи просветительской встречи с воспитательными акцентами.

Также неисчерпаемой в его творчестве была тема войны. Вторая мировая война выросла в его мозг с раннего детства и на всю жизнь сформировала отвращение к насилию и разрушению и одновременно притяжение к добру и красоте.

Война явилась тяжелым и трагическим испытанием для нашего народа. К сожалению, либерально настроенное «подавляющее меньшинство» нашего общества до сих пор считает, что жертв можно было избежать, если бы Советский Союз не оказывал бессмысленного сопротивления врагу. Мол, какая разница при какой власти жить. Да и в цивилизованном европейском обществе народу жилось бы гораздо лучше. Эти чудовищные рассуждения рассыпаются в прах перед реальными фактами. Живая память Леопольда Романовича, еще одного свидетеля варварского разрушения культурных ценностей и фашистских планов уничтожения мирного населения, говорит об обратном. Об этом объективно и страстно повествует Свидетель.

Война нарушила мир, война разрушала культурные ценности. Человечество несло огромные потери на фронтах, на оккупированных территориях и в тылу. Жизнь на оккупированной территории была и страшной и опасной. Независимо от национальной принадлежности, в случае победы над Советским Союзом всех ждал один конец. В том числе и население Латвии тоже подвергалось уничтожению.

Во время оккупации часть рижан была угнана в Германию, около 70 тысяч уничтожено в рижском гетто. Гитлер приказал, если придется оставить Ригу в случае отступления немецкой армии, всё население эвакуировать, а город превратить в пустыню. Когда фашисты были вынуждены отступать под напором Красной армии, вспоминал Леопольд Романович, оставшееся население не на чем было отправлять в Германию. Приказ был: «Уничтожить!» Из воспоминаний юного Поля узнаем: «Людей

загоняли на старые, неисправные сухогрузы, на буксире оттаскивали в центр Рижского залива и т-о-п-и-л-и. Так Рига была подготовлена к полному уничтожению». Семья глубоко переживала и остро обсуждала злодеяния оккупантов.

Память Леопольда Романовича, человека уже зрелого возраста, вводила к сороковым годам, когда семья жила в оккупированной Латвии, в Риге. Страх и запреты преследовали повсюду. «Но и само небо, пространство, стены домов, булыжники мостовых были как бы насыщены страхом, угрозами, смертью». Запрещено разговаривать в очереди за водой, запрещено смотреть в глаза полицейскому, запрещено смотреть по сторонам. И еще много чего нельзя. Память хранила трагические случаи из жизни оккупированного города. О трагедиях дети знали не понаслышке, часто были их немymi свидетелями и не по-детски глубоко страдали. У них до временно открылась душевная рана, сочувствие и боль за другого.

Леопольд Романович навсегда запомнил свой первый страх. Это был 1941-й. Маленькому Полю всего четыре года. Отец и дети, держась за руки, шли не торопясь по улице. И вдруг увидели, «как по шоссе мчатся на мощных мотоциклах, смеясь и торжествуя, юнцы в касках, с автоматом на груди и свастикой на рукаве. Завоеватели мира». У отца сжалось сердце. Дети почувствовали и запомнили эту его тревогу.

Настроение взрослых, их мысли, их выражение лица мгновенно сообщали детской душе всю серьезность и опасность происходившего. Конечно, при этом страшном режиме не все латыши выдерживали оккупацию. Были случаи, когда и взрослые и молодежь, чтобы не быть угнанными в Германию или подвергнутыми насилию, а иногда и по политическим мотивам, изменяли своему народу и родине — нанимались в полицию.

Первой душевной раной для Поля стала боль за сестренку. Ее ударил кулаком по лицу фашиствующий латыш лет 12–14. Он шел в небольшой группе таких же, как он. В новой коричневой форме, с красной повязкой на рукаве с белым кругом и черной свастикой. Поль уже знал — это гитлерюгенд, члены молодежной организации. Один из них вел себя особенно вызывающе. Поль в нем почувствовал угрозу и молил, чтобы все обошлось. Улица



была пустынной. Группа приближалась быстро. Оба ребенка оказались беззащитны. Парень ударил девочку, чтобы повеселить своих спутников, чтобы испытать безнаказанность и свою силу, власть. Его компания действительно расхохоталась. Ни одному из них не было стыдно.

А у Поля не было никаких возможностей защитить сестру. Выручил природный инстинкт. Он дернул девочку за руку, и они побежали изо всех сил. Забежали в подъезд незнакомого дома, забились в угол и вместе плакали. И Поль повторял одни и те же слова: «Как же это возможно — бить девочку?» Тогда он еще не предполагал, что в обществе можно жить по другим, нечеловеческим законам.

Память Леопольда Романовича выхватывала трагические события одно за другим. Он вспоминал, как оказался свидетелем очередной трагедии. Женщина бросила буханку хлеба в толпу бредущих пленных. Полицейский боковым зрением заметил непорядок. Вычислил женщину и втолкнул ее в колонну смертников. Но назад не выпустил. За сострадание, за человеческое качество, она заплатила своей жизнью. Мысли ребенка побежали дальше. Он был уверен: ее ждут дома детки. Он сокрушался от того, что дети не дождутся своей мамы. «Я так хорошо это чувствовал!» Безусловно, цепкая детская память откладывала на дне души трагические переживания. Они всё меньше становились детскими.

Можно ли детскую память считать духовным богатством? Несомненно. Это записано не с чужих слов, а пережито. И остается на всю жизнь. Не случайно у А. С. Пушкина: «Воспоминанья зло?» — Оставим эти глупости соседям... Без детства своего ты всюду беден». Наука утверждает, что история включает в себя всё. Но актуализирует лишь немного, то, что остается в памяти живущих людей. А в памяти остается лишь то, что пережито и понято. Запомним эти слова о памяти. Они нам еще пригодятся. Душевный мир Поля рано был насыщен пережитыми контрастами. Было что сравнивать и выбирать. И в этом стоянии заключалась огромная заслуга семьи.

Что стоили разговоры отца с сыном о вполне серьезных, детских вещах? Отец много дней не выходил на улицу. Болел.

Лежал в постели. Сын, возвращаясь домой, рассказывал о своих впечатлениях, часто с болью задавал вопросы. Старшего Цесюлевича тревожили мысли о будущем детей, и он старался не отмалчиваться, доступно отвечать на вопросы. Он первым разъяснил сыну, чем культурный человек отличается от цивилизованного. Диалог отца с сыном подробно описан в Книге.

Через много лет в беседах и на лекциях Цесюлевич вспоминал об этом. Настолько сильно запечатлелись в памяти слова отца. Хотя Полю в 1944-м не было и восьми лет. Потом отец и сын еще не раз вернутся к этому разговору. Поэтому не будем их диалог приводить здесь. А сын после эмоциональных бесед с отцом твердо решил стать культурным человеком.

Наверное, с этого момента и начался сознательный путь рано повзрослевшего Поля. Трудно поверить, но четко сформулированная цель — стать культурным — и непрерывные беседы с отцом в корне изменили его жизнь. Он стал по-своему выстраивать отношения с миром. Теперь не ждал, когда что-то к нему придет. Он сам отправлялся на поиски. Что направляло и управляло им? По моему убеждению, — память и данное себе слово.

Память ребенка, замешанная на страхе и ужасах в условиях оккупации, навсегда осталась в нем. И в 7—8-летнем возрасте Цесюлевич принимает решение стать культурным человеком, чтобы смочь защитить культурные ценности, чтобы противостоять цивилизованным германцам. В этом убеждаешься, когда читаешь последнюю Книгу автора.

На мой взгляд, у этой Книги могло бы быть уточняющее название — «Книга памяти». Что такое память? Понятие многозначное и разноуровневое. Традиционно мы память воспринимаем как отражение и воспроизведение прошлого, того, что безвозвратно ушло. Поэтому ей сопутствуют воображение и представление как инструменты оживления прошлого.

Память Цесюлевича иная. Безусловно, она не отменяет базового свойства оживлять прошлое. Но не только. Его память личная и деятельная. Уже в детстве ищет ответ на такие вопросы: «Почему люди уничтожают святыни и памятники культуры? Как защитить их?»

Жизненный опыт нашего героя — яркий пример вочеловечения благодаря памяти. Она была мотивом активной жизни, наполнена чувствами, эмоциями, страданиями «за други своя», гордостью, радостью, счастьем и еще многими другими достойными человеческими переживаниями. Она была тем маховиком, который снабжал его энергией и смелостью. Благодаря внутреннему посылу он брался за дело всегда страстно, энергично, последовательно и с радостью, потому что смеет и может. Вспоминается стихотворение Николая Гумилёва: «Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под уздцы коня, // Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня.// Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела».

Метафора Гумилёва емко и точно подмечает удивительные качества памяти. Для Цесюлевича она тоже оказалась «рукою великанши», вектором, уздой и долгом. Под началом недетской памяти и решимости стать культурным человеком в нем шел бурный процесс его внутреннего роста по собственному выбору.

Цесюлевич был честен в требованиях к себе. Много читал. Искал встреч с интересными людьми. Что выносил из этих встреч? Прежде всего культурные ценности и ориентиры. Спустя годы Леопольд Романович вспоминал, как восхищался их культурой, образованностью, широтой знаний, прекрасной русской речью, эрудицией, пониманием сути явлений жизни и т. п. Конечно, хотел быть похожим на них.

Для этого он изучал мировую и русскую литературу. Прекрасно овладел русским литературным языком. Значительно позднее, когда осознал, что слово является проводником сущего, стал требователен к нему. Культура языка и слова, кругозор оказали ему добрую услугу в исследовании и изучении рериховского наследия, а также в общении с выдающимися людьми эпохи, в педагогической и просветительской работе. Конечно, внутренняя активность памяти скрыта от глаз. О ней мы судим по результатам, сравнивая до и после.

Но вот ретроспективная память возвращает человека зрелого возраста к детским годам, полным контрастов и возможности четко различать добро и зло, культуру и антикультуру. И что очень важно для личности, память человека зрелого

возраста дает возможность вернуться к пережитому и открыть для себя новые ценности. В детские его годы разговор о культуре продолжался пока что в семейной обстановке. Поводов для этого было много, на каждом шагу. И каждый раз отец настойчиво напоминал сыну о злодеяниях цивилизованных варваров. Продолжал настаивать на различии, не путать культуру с цивилизацией. Напоминал сыну факты. И начинал с вопросов: «Ты помнишь; ты видел, как...» или: «Ты видел, что...» Требовал не забывать о преступлениях против человечества и культуры. Словно предвидел раскол в общественном сознании прибалтийских республик, когда большинство латышей откажется от русского языка и будет праздновать освобождение не от Германии, а от России.

Память восьмилетнего ребенка хранила пережитый страх, опасность, боль за погибших и убедительные наставления отца — «Помнить!» Эта память стала тем чистым источником, из которого Цесюлевич всю жизнь черпал силы и энергию, а рано сформировавшиеся чувства благодарности и долга обязывали брать на себя больше других и право сметь, потому что должен.

После разговора с отцом юный Польш возвращается пока к не совсем понятным словам — культура и цивилизация. И размышляет над вопросом: «Почему нельзя защитить то, что свято, что дорого сердцу; почему жизнь, добро, красота так беззащитны?» Через несколько лет, семнадцатилетним, Польш этот же вопрос задал Рудзитису. Когда на лекциях Леопольд Романович говорил об этом слушателям, студентам или учащимся, им трудно было в это поверить. И лектору приходилось разъяснять, что в годы войны дети выросли раньше.

Долго ждали — и день настал. Осенью 1944-го Красная армия освободила Ригу. Семья Цесюлевичей освобождение от оккупантов восприняла как дар. Они сами не участвовали в освобождении. Их освободили. Сохранили любимый город. Благодарность семьи сопрягалась с ощущением неоплатного долга. С этого момента Леопольд Романович любую удачу в жизни воспринимал как везение и дар. Это рождало чувство благодарности, а с годами оно переросло в чувство долга. Долг памяти был нравственным долгом семьи и самого младшего — Поля.

Особый акцент отец Цесюлевича делал на героизме и жертвенности Красной армии при освобождении Кракова и Риги: «Отец мне говорил: «Вот это и есть истинная защита жизни и культуры. Им ведь проще было войти в город, когда никто не сопротивляется, когда город в руинах и враг ушел. А ведь пожертвовали тысячи своих жизней, чтобы спасти людей, еще прятавшихся в своих домах, подвалах, погребях; спасти памятники архитектуры, музеи, церкви». Таким же образом наши войска спасли Краков. Тоже за два дня до взрыва». По случайности Леопольд Романович жил в Барнауле на улице Красной армии. Барнаул увековечил армейский подвиг во Второй мировой. Наказ отца Поля помнить о подвиге Красной армии подкреплялся даже повседневностью.

Будущий художник и философ уже в детстве открыл потрясающе короткую, но сущностную формулу счастья: «После освобождения сразу исчезла все годы оккупации висевшая над городом пелена страха и опасности, СНОВА НЕБО СТАЛО НЕБОМ, СОЛНЦЕ — СОЛНЦЕМ». Он открыл формулу мирного неба и мирного солнца. До гениальности коротко, просто и одновременно пронзительно. От этих слов хочется плакать. В оккупации боялись неба, оно угрожало смертью. Из-за гари и дыма не видели настоящего чистого солнца, как небо, грозного и красного. Теперь у счастливого Поля было свое небо и свое солнце.

Сегодня мы можем сказать: этой формулой завершалось развитие памяти детства. Было бы большим заблуждением считать детскую память универсальным фактором жизни Цесюлевича. Заслуга этой памяти в том, что она сформировалась на нравственно-эстетическом восприятии жизни, на наглядном, чувственно-конкретном противопоставлении добра и зла, культуры и бескультурья (дикости). После освобождения Риги от оккупантов в семье появились новые для Поля слова: жертвенность, неплатный долг. Появились новые темы для обсуждения — новые конструкции для дальнейшего развития памяти.

Память почти восьмидесятилетнего Цесюлевича (ему в 2016-м было 79 лет) ведет его в 50-е, послевоенные. Он замечает: жизнь становилась все более насыщенной. Расширялся круг знакомств. В его жизни происходили знаменательные события: «В 1954 году удалось побывать в семье замечательного

латышского поэта, философа, общественного деятеля — Рихарда Яковлевича Рудзитиса». Молодому Цесюлевичу семнадцать лет. Эту встречу он считает жизненной удачей, везением, событием. Из Книги памяти мы узнаем: на его становление как личности самое серьезное влияние оказал близкий друг семьи — Рудзитис.

Рудзитис был выдающейся личностью, талантливым собеседником, оказался еще и прекрасным педагогом. Он требовательно и бережно относился к молодежи. Одним из настойчивых требований к молодым была просьба приходить на собеседования не за ответом, но с вопросом. Педагог опасался: ответ можно вычитать из книг, заимствовать чужие мысли. Это значит мышление прервано и возможность к размышлению, не исчерпав себя, утрачивает силу. Поэтому при первой встрече он подробно расспрашивал каждого о том, что волнует молодого человека, на какие вопросы он ищет ответ?

В вопросах Рудзитис слышал, что успел пережить молодой человек и какое занимает место в жизни (посторонний или внутри событий), и насколько созрел для ответа. Вопрос он считал началом продуктивной мысли и, значит, создания естественного энергетического поля между вопрошающим и отвечающим в лице того же вопрошающего. То есть речь шла о внутреннем диалоге, у которого нет конца. Потому что путь к истине — это процесс, и истина — это тоже процесс, она не абсолютна. И тогда внутренний диалог — это заинтересованная целенаправленная бесконечность и самоконтроль.

Этот метод Леопольд Романович ценил высоко и не преминул не только воспользоваться им, но и рассказать в своих воспоминаниях. Его память указывает, насколько плодотворна для него форма диалога. Она определяющим образом способствовала становлению своего «Я». Диалог формировал самостоятельность, самокритичность и осознание личной ответственности на уровне долга как духовной обязанности.

К диалогу в истории философии не раз обращались выдающиеся мыслители. Например, А. Хомяков и И. Киреевский (диалог окликнутого «Я»), М. Бубер (диалог «Я» и «Ты»), М. Бахтин («Я» и «другой»). Диалог Рудзитиса также заслуженно

вписывается в методологию познания. Читателям важно знать об этом. К сожалению, в большой литературе он пока что не прозвучал.

При первой встрече, как писал в воспоминаниях Цесюлевич, на вопрос Рудзитиса, «что его больше всего волнует?», он рассказал о разрушениях и жестокостях, которые ему довелось видеть. И задал вопрос: «А что же делать? С этим злом невозможно смириться!» «Во-первых, — ответил Рудзитис, — надо спасти человеческую душу. Ибо, прежде чем поднять руку на другого человека, преступник уже сам убил в себе свою душу, свою совесть, свое сострадание». То же Поль слышал от отца. Но Рудзитис еще отвечал на вопрос: «Как?» Зло многочисленно и многолико. Спасать культуру и душу человеческую «надо всемирными мерами и международными законами и правилами». Впервые наш герой встретил человека с масштабным мышлением, готового подняться до мировых проблем.

Леопольд Романович ни разу не обмолвился, как к нему относился Рудзитис. Сам он о Рудзитисе говорил с благодарностью. Но между строк воспоминаний можно уяснить, что он заметно выделялся из среды сверстников серьезностью, устойчивостью взглядов и надежностью. Это сказалось на доверительности бесед и на круге знакомств. Педагог познакомил единственного студента Академии художеств с сыновьями Рериха, ввел его в круг первого поколения рериховцев-миротворцев. Через несколько лет Цесюлевич с благодарностью воспользуется этими знакомствами в поисках экспонатов для музея.

С этого времени его так же, как и Рудзитиса, стало интересоваться всё, что касалось семьи Рерихов. И в этом педагог и ученик стали «людьми одной крови». Для студента Рижской академии художеств идея защиты культурных ценностей была вполне органичной и значимой. И что важно: заветы отца, его наставления помнить о злодеяниях, о значении культурных святынь для народа не только естественно вписывались в темы бесед с Учителем. Они были их дальнейшим развитием.

Начался новый, третий этап в жизни Цесюлевича. Вначале под влиянием убедительных бесед Рудзитиса он верил в то, что семья Рерихов на верном и очень важном пути. Но, когда

по совету Учителя и Юрия Николаевича Рериха стал читать статьи и монографии Н. К. Рериха и о Рерихе и с нарастающим интересом погружаться в его творчество, то понял: перед ним встает незаурядная личность мирового масштаба.

Масштабность деятельности Рериха иногда сравнивали с международной организацией «Красный крест». Но если «Красный крест», размышлял студент, озабочен спасением жизни, то Николай Рерих обратился к душевным качествам человека, обратился к людям планеты поднять голос в защиту мира и в защиту культурных ценностей — того, что делает человека человеком. Цесюлевич понимал — довоенная и послевоенная деятельность миротворцев стала вызовом эпохи. Но что его по-прежнему удручало и лишало уверенности в избранном пути, — то, что силы созидания и разрушения по-прежнему были неравны.

Казалось, убедительная победа над фашизмом рождала надежды на мир. «С войной покончили мы счеты...» К сожалению, уже в июле 1945 года, всего через два месяца после капитуляции фашистской Германии, в США состоялось испытание атомной бомбы. В том же году атомные бомбы были сброшены на Японию. Стало ясно: Вторая мировая война тоже не стала последней и мир по-прежнему остается хрупким. Этот факт лишал уверенности и оптимизма. Что же делать? Педагог, конечно, видел, с каким настроением молодежь покидает встречу.

Поэтому на одном из собеседований прозвучала мысль о том, что на Земле силы смертоносного оружия и силы морали всегда были неравны. Да. Сила оружия во все времена превосходила Силу морали. Цесюлевич насторожился. Прозвучал вопрос: «Неужели всё напрасно?» Философ ждал этого вопроса. Он рассчитывал на него. В вопросе молодого человека звучала искренняя боль. Не постороннего, а человека, знавшего не понаслышке о трагедиях и потерях военных лет; юноши, готового подняться до проблем мирового масштаба, желающего стать причастным к движению миротворцев. Именно здесь, на занятиях у Рудзитиса в сознании молодого человека обозначилось чувство долга — личной ответственности и обязанности перед временем и человечеством.



В беседах с Рихардом Рудзитисом выяснялось многое, вспоминал Леопольд Романович, но возникали новые вопросы и проблемы. Например, почему миротворческие идеи так медленно входят в жизнь? И что тут делать? Рудзитис терпеливо разъяснял: «Сознание людей очень медленно повышается. Очень трудно всё новое, положительное входит в сознание. Но все-таки все труды не напрасны. Все-таки изменения к лучшему есть. Надо продолжать борьбу, надо поднимать сознание людей, надо, где только можно, разъяснять смысл культуры... Надо самому стать культурным человеком, чтобы тогда нести это знание другим». Вчитываясь в эти слова, убеждаешься, насколько велика роль старшего поколения в отношении к молодежи.

Слова Учителя стали для него второй жизненной программой и вторым жизненным вектором. Вот признание самого Леопольда Романовича: «...ведь идея, зароненная с первого разговора с Рихардом Рудзитисом жила и была задачей жизни» — продолжать борьбу за культуру. Напомним: первая программа — стать культурным человеком.

Память о наставлениях отца и Рудзитиса вела Цесюлевича всю оставшуюся жизнь. Она умножала его энергию, из нее он черпал живительные силы, не терял надежды, казалось, в безнадежных ситуациях. Это в воспоминаниях победные шаги следуют один за другим, а в реальной жизни были не только победы, но и поражения. У Б. Пастернака: «Но поражение от победы ты сам не должен отличать». Почему? Потому что и в том и в другом случае он был честен до конца. Делал всё от него зависящее. Дело ценил более самого себя.

Но память не оставалась статичной. Она тоже претерпела изменения, вышла на уровень идеи Рериха — «Мир через культуру». Разрозненные мысли и общественные связи она объединила в единую систему, сформулировала твердые убеждения и не выпускала до конца жизни из своих объятий. Совесть и долг стали критерием памяти и поступка.

Вернувшись в Россию, Юрий Николаевич Рерих оживил работу по восстановлению памяти об отце в форме конгрессов, картинных галерей и конференций. Затем Цесюлевич потревожил и оживил существование миротворцев. Немалая заслуга

алтайского рериховца в том, что он дал возможность каждому из них исполнить свой долг перед памятью великого гражданина Мира. Активно и доброжелательно откликались они на просьбы второго поколения рериховцев.

А начинал Леопольд Романович на пустом месте. Вначале даже не предвидел, какой предстоит объем работы для возрождения имени Н. К. Рериха на Алтае. Еще не было программы, не было продуманных шагов. Просто начал с лекций по линии краевого общества «Знание». Выступал с лекциями о научной и творческой деятельности сыновей Рериха. На эту же тему печатался в краевых и республиканских газетах и журналах. С этого началось возвращение Рерихов на Алтай и в Россию.

Встречи с жителями края выявили устойчивый интерес самых разнообразных аудиторий к рериховской тематике и породили мысль попытаться найти следы пребывания на Алтае экспедиции Николая Рериха, состоявшейся в 1926 году. Но это уже совсем другая история, вобравшая в себя исследовательские и научные подробности и открытия.

А в моей памяти еще одна удача, еще одно везение, которое Цесюлевич успел пережить при формировании коллекции экспонатов. Хотя на этот раз удача не была его заслугой.

Весной 1992 года Барнаул готовился к открытию нового музея — ГМИЛИКА. Цесюлевич был причастен к его открытию, участвовал в основании музея. Вы помните, в коллекции экспонатов творчества Рерихов уже имелась копия Знамени Мира. Но вот директор музея Тамара Ивановна Вараксина радостно сообщила Цесюлевичу, что открываться музей будет при подлинном Знамени Мира. Она рассказала, что вице-президент музея Николая Рериха в Нью-Йорке Кэтрин Кэмпбелл-Стиббе передала Знамя Мира для нашего музея. «Теперь в экспозиции подлинное Знамя Мира Рериха. Идите и посмотрите». Естественно, он «пошел в тот зал и не столько глазами, как внутренним чувством ощутил великую разницу. Передо мной было то, что словами описать трудно». Да, это был бесценный дар. Слов нет.

Слов нет! Но о переживаниях и чувствах наш герой писать не стал. Иногда говорить о глубоком опасно. Даже истину порой надо «держат за зубами». Поэтому правильнее поделиться

впечатлениями и чувствами не Цесюлевичу, а мне. Мои чувства неоднозначны и противоречивы. С одной стороны, Знамя завершило долгий, трудный, насыщенный временем путь. Знамя Мира — свидетель зарождающегося движения миротворцев. Одновременно Знамя стало аккордом и началом жизни нового учреждения культуры — ГМИЛИКА. Но, к сожалению, не музея Рериха и уже почему-то без Леопольда Романовича Цесюлевича. Хотя известно — он стоял у основания музея. И без тех, кто был в его жизни наставником, удачей, везением. Так к радости примешивается противоположное чувство — горечь.

Нам пора прощаться с Леопольдом Романовичем. Кто примет эстафету? Кто пополнит духовный мемориал Н.К. Рериху и его семье? Кто организует работу по изучению рериховского наследия? Кто продолжит развивать связи Алтайского музея с музеями разных стран? Кому под силу решить вопрос с музеем Рериха в Верхнем Уймоне? Вопросы остаются открытыми. Работа предстоит большая. Главное, не успокаиваться на достигнутом.

В ГМИЛИКА коллекция, посвященная Рерихам, в хорошем и надежном месте. Есть надежда, что музей, продвигая идеи семьи Рерихов, с высокой мерой благодарности будет упоминать о подвиге двух подвижников из Латвии — Рудзитисе и Цесюлевиче. Может быть, найдется место для экспонатов, подтверждающих их подвиг. Может быть, со временем под каждым экспонатом будет имя миротворца-рериховца первого поколения: кто он и откуда?

Но у Рериха, человека Мира, всё же должен быть свой мемориал. Кто из молодых поднимет знамя двух поколений рериховцев? Нужен «локомотив», пассионарная личность, подобная нашему герою. И, конечно, коллектив единомышленников. Такой коллектив есть. Если Леопольд Романович начинал почти один, то сейчас рериховцев наберется отряд в разных городах края. Теперь дело за всеми музами культуры и за наукой. И, конечно, за молодыми подвижниками.

## **ВОСПОМИНАНИЯ, НАПИСАННЫЕ В 1967 Г. ПЕРВОЙ МАШИНИСТКОЙ СОВДЕПА Г. БАРНАУЛА ЕВГЕНИЕЙ КОНДРАТЬЕВОЙ<sup>1</sup>**

**В** 1912 г. я приехала с родителями в г. Барнаул, где училась в Александрийском училище, переименованном после падения царизма в Барнаульское женское высше-начальное училище, которое находилось на углу Павловской улицы и Острожного переулка [1].

Я окончила его 30 апреля 1917 г., а 2 мая оно сгорело при пожаре города. Учиться дальше не пришлось, т. к. отец и мать были старые, а брат-фельдшер был на фронте Германской войны, нужно было кормить себя. На помощь пришел Союз металлистов, который выдал мне пособие, чтобы учиться на секретаря-машинистку. Председатель Союза металлистов был М. А. Ярков [2]. Пособие выдавала нам его сотрудница Третьякова Нина Владимировна, и я со школьной подружкой Таней Сысоевой училась в Бюро машинописи у Михеевой в Барнауле на Гоголевской улице, между Соборным и Конюшенным переулками [3]. Окончила.

Вспоминается мне школа в Заячьем поселке [4], где я дежурила на Избирательном участке, также от Союза металлистов —

---

<sup>1</sup> Авторская стилистика сохранена.

это был мой первый профессиональный Союз. После того как большевики отделились от меньшевиков, на выборах у большевиков был свой список № 7, который и восторжествовал большинством голосов народа.

Однажды во время дежурства на избирательный участок пришел в студенческой тужурке белокурый паренек и, подавая руку, отрекомендовался Павликом. Проверив отметившихся, он сказал мне, чтобы я завтра же пошла и подала прошение, чтобы поступить в Алтайский Губернский Комиссариат, а ему сообщить в 5 часов вечера того же дня, он будет ждать меня в Народном доме [5].

Когда я пришла в учреждение, которое находилось на Демидовской площади [6], подошла к машинисткам, их было трое. Все они блеснули золотыми брошами, кулонами, дорогими серьгами, браслетами, перстеньками. Когда я обратилась к ним, они были удивлены скромным форменным платьем девочки, и, пожав плечами, сказали, что им четвертой машинистки не надо.

По условленности, я сообщила об этом Павлику, а на другой день оба пошли снова насчет работы. Павлик сам взял прошение, написанное мной, и пошел в канцелярию, а через несколько минут вышел невысокого роста человек, черноволосый, средних лет, и попросил под диктовку напечатать. Он хотел проверить, как я работаю, затем сказал, чтобы я вышла через день на работу. Машинистки, которые накануне отказали мне, недоумевающими взглядами смотрели на нас.

29 ноября 1917 г. я вышла на работу. Машинка стояла «Мерседес», мне давали текущую работу машинистки, а сами разговаривали. Я старалась работать, смущалась, когда чувствовала, что на меня смотрят или кто-то подходит ко мне. От смущения краснела и не любила себя за это.

8 декабря 1917 г. в 10 часов утра, когда все работали, вошла делегация рабочих, одни были вооружены и остались по двое у дверей снаружи, другие у дверей в одной комнате, остальные во второй, остальные прошли дальше, с ними был и Павлик. Товарищ Карев [7] сообщил, что вся власть перешла в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, просим всех спокойно работать и подчиняться. Некоторые из сотрудников начали быстро бегать куда-то, звонить, но тов. Карев подошел

и сказал, чтобы не беспокоились, бесполезно, телефонная станция отключена.

После занятия своих постов, делегация с товарищами Присяжным Иваном Вонифатьевичем, Цаплиным Матвеем Константиновичем, Устиновичем Владимиром Ивановичем, Казаковым Михаилом Кирилловичем, Ненашевым Иваном Кузьмичом и др. заняла свои места. Таким образом, власть перешла в руки Советов совершенно спокойно, безо всякого сопротивления и стрельбы.

В это время отряды Красной Гвардии, которые состояли из рабочих, солдат и революционно настроенных граждан, добровольно записавшихся, со своими Комиссарами занимали, кроме здания Алтайского Губернского Комиссариата (это орган власти Временного правительства, куда меня теперь устроили работать), Телефонную станцию, Телеграф, Банк и Казначейство, тюрьму, железнодорожную станцию и другие учреждения [8].

Матвей Константинович Цаплин, который вернулся со 2-го Всероссийского съезда Советов, где он слушал В.И. Ленина, теперь уверенно вел рабочих и солдат к взятию власти в Барнауле по примеру рабочих и солдат Петрограда. Цаплин успел накануне в Барнауле провести первый раз заседание Военно-Революционного Комитета, где он был выбран председателем.

В конторе Комиссариата после смены власти вначале стояла тишина, все что-то ожидали. После того как были заняты учреждения и Комиссары заняли свои посты, постепенно стали поступать сведения, начали звонить телефоны уже подключенной телефонной станции, и к телефонам уже подходили хозяева нового положения. Вызывали т. Карева, Корнякова, а через них и других, и напряженная тишина начинала оживляться. Также приходили связные с донесениями с мест, где не было телефонов.

Из третьей комнаты кабинета вышел новый руководитель, высокий лысый человек с бледным уставшим лицом, в военной форме, подошел к машинисткам, к одной, другой, третьей — все они отказались печатать небольшой текст написанной им бумаги. Я сидела за машинкой, чувствуя, что он подходит ко мне, уже вся красная от смущения, взглянула на Павлика, который, улыбаясь, кивнул мне головой, очевидно, довольный своей подготовкой кадров. Я начала вкладывать в машинку бумагу.

Человек с листком, Ненашев Иван Кузьмич, член Военно-Революционного Комитета, спросил, улыбнувшись и обращаясь ко мне: «А Вы? Тоже бастуете?» Но увидев, что я уже закладываю в машинку бумагу, понял, что я готова работать.

Я начала под диктовку печатать первую телеграмму из Барнаула в Петроградский ЦК ВКП(б) Ленину о том, что власть в Барнауле перешла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, за подписью председателя ВРК Цаплина.

Работы становилось все больше и больше, подходили разные лица, которые прибыли вместе с делегацией, с приказами, распоряжениями, которые нужно было отпечатать и послать немедленно с подготовленными Павликом связными.

Три машинистки стояли в стороне, злобно смотрели с ненавистью на меня, не разговаривали, бойкотировали меня. Когда к ним еще раз обратились, чтобы они работали, они от работы отказались, говоря, что с большевиками работать не хотят, пусть с ними работают какие-то девчонки. Бросив эту реплику, они ушли, а для меня началось боевое крещение в жизни. Но меня не смущала работа, что ее было много, потому что я попала в свою рабочую среду.

Переменив свою машинку «Мерседес» на развернутый лист большой машинки «Ундервуд», я стучала по клавишам далеко за полночь, помогая товарищам скорее напечатать срочные приказы и постановления Военно-Революционного Комитета, также чувствуя себя миниатюрным винтиком махового колеса Революции, которой так хотел народ, и вот долгожданное время пришло.

Я иногда работала всю ночь, но это было редко, а за полночь — почти всегда, работы было очень много. Если за мной не приходил отец или мать, меня провожали товарищи по работе.

Разные Отделы разворачивали свою работу, все больше и больше подбирали в аппараты новых сотрудников, так как бывшие служащие в учреждениях саботировали, не хотели с большевиками работать. Им не кланялись, а на их место становились малограмотные работники, но точно выполнявшие работу, как было нужно. Иногда они смеялись и говорили про свою неграмотность: «Ничего, а зато у нас машинистка есть!» Как будто это их выручало, подбадривало в работе.

Руководителям было работать нелегко, особенно ВРК в лице т. Цаплина, Устиновича, Казакова, Малюкова, Ненашева, Яркова и Нины Владимировны Третьяковой, с которыми больше всего приходилось мне работать, так как не всегда все подчинялись выполнению и установлению дисциплины. Фабриканты, купцы, хозяйчики, с которыми борьба и работа коммунистов была почти непрерывной, а это неподчинение служило большим тормозом в работе, но коммунисты терпеливо, самоотверженно работали.

...Шел 1918 год. Я работала и дежурила также после работы и в выходные дни в Совдепе. Профсоюзы начали наводить порядки работы, чтобы переходить на 8-часовой рабочий день. Но работа Советов, охватив весь Алтайский округ, налаживалась с большим трудом. По железной дороге отправлялись поезда с хлебом в Петроград рабочим, но белогвардейские силы начали мешать работать, а кулаки стали поднимать голову в деревне. В конце апреля произошел бунт в барнаульском лагере военнопленных [9]...

Начала создаваться Красная Армия по декрету Ленина, организовываться Военные Комиссариаты, которые должны были проводить призыв в армию. Отправлялись отряды в Забайкалье на борьбу с атаманом Семеновым. Затем, в мае, после мятежа белочехов, были посланы отряды на помощь Ново-Николаевску [10] и Камню-на-Оби, а защита самого Барнаула стала недостаточна. Не хватало боеприпасов, оружие было старого образца, вроде бердан 12 калибра, Смит-Вессонов, ничего другого не было [11]. В Совдепе была автомашина, поношенная, старая, но она еще служила для связи с вокзалом работников Совдепа.

...Настроение было напряженное, белочехи с белогвардейцами наступали на Барнаул по железной дороге, наши отряды отступали к городу. После начала белочешского мятежа мы были отрезаны почти со всех сторон, Советская власть пала в Омске, Ново-Николаевске, Томске, а из Центра мы информации больше не получали. Оставалось только одно — защищать Барнаул, железную дорогу, мост через реку Обь, станцию Алтайскую, чтобы не дать окружить себя.

Рано утром 11 июня 1918 г. в городе началось выступление белогвардейского подполья. Совдеп был окружен белогвардейцами, началась перестрелка. Незадолго до этого, в начале мятежа,



Цаплин и Присягин успели отправить на вокзал автомашину с сотрудниками Совдепа, чтобы вызвать помощь со станции Алтайской, куда накануне был отправлен последний крупный отряд красногвардейцев. На машину было совершено нападение белых, был убит Аркадий Третьяков.

Матвей Константинович Цаплин и Иван Вонифатьевич Присягин после начала обстрела белогвардейцами Совдепа собрали всех его сотрудников и призвали их на защиту власти Советов, чтобы мужчины взяли в руки винтовки, а женщины и девушки шли медсестрами в перевязочный пункт. Так и сделали, и я стала медсестрой. Перевязочный пункт был организован внизу Городского Музея (сейчас Краеведческий музей) [12], с главного входа налево две комнаты были перегорожены. Руководил перевязочным пунктом т. Коновалов, фельдшер, он жил где-то на горе, но после начала сражений в городе не отлучался, как и все мы, с пункта. Сообщение из Совдепа в перевязочный пункт было через двор, с правой стороны защищала кирпичная ограда, которая немало приняла на себя пулю. Она шла от Городского Музея и вскоре была выщерблена пулями.

В перевязочном пункте работали я и моя подруга Лиля Пилаина, а также двое санитаров, носивших на носилках раненых, и старый человек, который возил на рыжей лошади, запряженной в телегу, перевязанных нами раненых по Лазаретам между Сузунской и Бийской улицами на Соборном переулке [13], а также возили и носили раненых в лазарет на Лесопильный завод (бывший Сереброплавильный) — это через дорогу от Музея [14].

Все больше и больше разгоралась борьба, стрельба шла и ночью и днем, стало больше раненых и некоторых убитых. По Совдепу стреляли из-за углов улиц, а потом из Мужской гимназии и Реального училища [15]. Оборонявшие Совдеп товарищи находились: часть — в здании Совдепа, а часть — в Дмитриевской церкви за Совдепом. Они отстреливались от белых, стрелявших в Совдеп из-за углов Гоголевской улицы, где белые оставались лежать убитыми около тротуаров несколько дней. Я помню, как один из них, горбатый человек в тужурке чиновника, средних лет, а также еще несколько человек убитых лежали долго на площади.

Из защитников Совдепа был мадьяр, молодой, сухощавый человек. Его принесли санитары, он был тяжело ранен в голову, в нем узнали человека, хорошо игравшего на скрипке. Когда учитель пения Шаронов Семен Васильевич организовывал раньше первую Сибирскую Капеллу, то этот мадьяр всегда приходил до спевки немного раньше, спрашивал разрешения поиграть. По-русски он говорил плохо. Шаронов всегда разрешал, а у того человека сказывалась, видимо, тоска по родине, он уже не замечал никого, когда в руки брал скрипку. Слушать его всегда было удовольствие, когда он играл на ней, то выливал он, кажется, всю свою душу в звуках рыдающей скрипки, всегда заканчивая свою игру песней «Не брани меня, родная». Сыграв свой небольшой репертуар, он подносил Семёну Васильевичу Шаронову скрипку, низко кланялся, положила руку на сердце в знак сердечной благодарности, и сразу уходил. Сейчас его, тяжело раненного, только донесли до лазарета, и он умер.

Следом за ним принесли раненого Ивана Анашкина, его быстро перевязали, а Анашкин просил: «Скорее, сестренка, скорее напиши письмо родным, сообщи, где я». Он жил на Булыгинской заимке [16]. Я писала под его диктовку с большими перерывами, так как боли и страдания передавались всему его организму, он старался напрягать все свои силы, забывал имя, теряя сознание, забывал, что он хотел написать. Ранен он был в обе руки, ноги и живот.

Письмо было передано моими родителями. Они разыскали родных Анашкина на Булыгинской заимке и сообщили, передавая письмо, что он лежит в Лазарете на Лесопильном заводе.

Раны Анашкина были тяжелые. Когда мы его сдавали в Лазарет, он был в слабом состоянии, почти безнадежном на жизнь.

Раненых было много. Через несколько дней с 1 часу ночи стала слышна стрельба с Горы, наступали белые. Пули летели с Нагорного кладбища [17]. Мне хорошо помнится эта ночь.

Я иду впереди, несу белый флаг с красным крестом — знак нейтральности. Санитары несут раненого, а пули визжат, и только перешли мостик через речку Барнаулку, неся в лазарет, как вдруг передний санитар поставил носилки и схватился за руку — он был ранен. Я воткнула ему под мышку флаг, а сама взялась за носилки, чтобы скорее дойти до лазарета. Когда приняли раненого, в лазарете также остался наш санитар.

Обратно мы бежали на перевязочный пункт, а пули все летели, и казалось, что перебежка была длинной, хотя знали, что Музей — перевязочный пункт — недалеко. С рассветом 15 июня еще сильнее поднялась стрельба. Уже было понятно, что Барнаул окружают. А в 6 часов утра в перевязочный пункт пришли уже белые, они сказали, чтобы никто никуда не выходил, — это значит, что мы арестованы.

Сначала белые нам даже разговаривать не разрешали. Какое-то непонятное, щемящее чувство наполнило всю мою душу. Я еще с детства, когда было тяжело, всегда в песне изливала свою душу. Вот и сейчас, в такой тяжелый момент, я забилась в угол и тихонько что-то бунчала. Мне было очень тяжело, потом ко мне подошла Лиля Пилаина, под села ко мне, обняла по-дружески, и так мы сидели каждая со своими мыслями. Лилия была старше меня, она была беженка-латышка, они с матерью бежали от Германской войны [18], дорогой умерла ее мама. Лилия и так испытала большое горе, жизнь мало подносила ей радости, а тут еще и арест, неизвестность. Что будет дальше?

В 10 часов утра пришли в перевязочный пункт еще двое белых, одного из них, молодого, я видела раньше — не то Вовка, не то Лёвка. Второго, старшего, он называл Шпренгерт.

Они повертелись, поговорили с охранявшими нас беляками, указывая глазами на нас. К нам в это время подошел фельдшер Коновалов, который, очевидно, слышал их разговор, и сказал нам впоголоса: «Постарайтесь уйти от них!» — а больше ничего не сказал. Как уйти? Почему? Не успел сказать. К нам подошел со своим другом Шпренгерт и сказал мне с Лилей идти за ними. Мы переглянулись со всеми, Лилия вышла первой, я вышла за ней.

Нас вывели из Музея и повели по Соборному переулку в сторону Нагорного кладбища. Народу было очень много, и колокола звонили в Соборе [19]. Был солнечный летний день, многие лица ликовали, на них была написана радость, а главное, столько народа, и все стояли, как будто чего-то ждали.

Когда нас вели, то вдруг из толпы раздался выкрик: «Ой! Женьку-то на расстрел повели, посмотри!» Больно кольнуло в сердце. Я оглянулась в сторону, откуда был выкрик, и увидела дядю Яшу

с женой, Сысоевых, — они оба были сторожами нашей школы. Я им поклонилась. Я давно их не видела, почти с окончания школы, а их выкрик мгновенно заставил меня подумать обо всем. Мы встретились глазами с Лилей, она крепко пожала мне руку, за которую она взяла, когда мы вышли из Музея. Так мы держались всю дорогу, как будто боялись расстаться. У обоих были мысли: «Уйти, убежать скорее!» Но как? По одной? Оставив одна другую? А дальше что? И как это можно, в такую тяжелую минуту оставить друг друга? Нет, этого делать нельзя! Уйти обоим, затеряться в толпе? Если бы не было этих охранников — Шпренгерта и его друга, — не было ликующих людей вокруг! Правда, хотя и не все ликовали, но большинство, и они могут поддержать сопровождающих. Что делать?

Летний теплый день, такой хороший, так много солнца, которое своей теплотой, своими лучами ласкает весь мир, а девушек ведут на гору, на кладбище, откуда изредка слышны залпы расстрельных выстрелов. Зачем? Что будет с нами? На душе было смутно-подавленно.

До стариков, моих родителей, уже дошли слухи, что их дочь повели на расстрел на кладбище. Но на какое кладбище? На Гору или к тюрьме в Дунькину рощу? [20] Никто не сказал. Куда бежать, где искать?

Отец дошел до угла и не знал, куда идти, в какую сторону... А мать стояла, смотрела, думала, куда он мог пойти, не сказав ей? Оба знали про слух, но не говорили один другому и не могли уйти один от другого, да и дом оставлять не могли. Жили мы на квартире у доктора Шутского Ивана Михайловича — Павловская улица, дом 111, между Соборным и Конюшенным переулками, в полуподвальном помещении [21]. Шутские летом жили на даче, а мои старики-родители оставались сторожить и домовничать.

Утром 15 июня, перед тем, когда белые меня арестовали, в доме Шутских был обыск. Не найдя меня, белые разбили все ящики с медикаментами Шутского, отцу потом пришлось извиняться за все это.

Отец и мать переживали — сын на фронте, дочери нет, остались одни, да и куда идти? Где искать? Сердце родителей разрывалось в безнадежном состоянии.

А нас довели на Гору до ворот и вошли на кладбище по Косому взвозу [22], повернули к церкви [23], где шла служба, трезвонили колокола. Здесь также было много народа.

Кто входил в церковь, некоторые выходили из нее. По правую сторону церкви были ряды торговков и просто встречающихся людей. Тут был хлеб, плюшки, молоко разное — сырое, вареное, пресное, кислое.

Мы давно хотели пить и еще не ели со вчерашнего дня. Надо напиться, а денег с собой нет, мое портмоне было взято у меня при аресте в Музее. А люди рядом подходят, пьют, улыбаются, смеются.

Лиля наклонилась к старушке и попросила кислого молока, сказала, что заплатить мы не сможем, нет денег. Старушка налила в чашку молока, которое Лиля подала мне.

Хотя я очень хотела пить, но отпила только половину и отдала допить Лиле.

Когда Лиля пила, то я заметила, что впереди стоял мужчина в штатском, он тоже пил, потом, обернувшись, вытирая рот платком, увидел нас и удивленно спросил: «Женя! А ты зачем сюда пришла? Папа с мамой знают?» Я рассказала ему, что нас взяли из перевязочного пункта из Музея, да и косынки наши с крестиками подтверждают это, а зачем привели сюда — не знаем. При разговоре я вспомнила и узнала — это был дядя Володя, Владимир Апполонович, фронтовик Германской войны, и что я с его дочкой нянчилась, когда он был на фронте. Я тогда училась и, как только приду из школы, приводили Оничку — его дочку. Над ней я потешалась до слез, когда спрашивала: «Оничка, ты сегодня молилась?» Она отвечала детским голосом: «Молилась!» «Как, покажи!» — приставала я к ней. Оничка беспрекословно показывала, как она молилась, неправильно кладя крест, не как учили, и вместо слов молитвы «Господи! Спаси папочку от врага!» Оничка говорила: «Господи! Снеси папочку на рога!» — и серьезно делала земной поклон, а мне было до слез смешно.

Когда Владимир Апполонович пришел с фронта, они съехали на другую квартиру, и я с тех пор не видела его.

Сейчас я указала ему на Шпенгерта с его товарищем — они стояли и курили в сторонке, пока мы пили. Мы с Лилей не слышали, о чем они говорили, только слышали, как сказал Владимир

Апполонович: «Будут за мной!» — и видели, как те повернулись и пошли, а он подошел к нам и сказал: «Пошли!» И на ходу говорил нам: «Идите быстро домой, привет папе и маме, только куда не заходите — прямо домой!» Он подвел нас к лестнице с Горы, на которой с разными площадками было около 150 ступеней.

Хотелось сразу убежать, но быстро идти было нельзя, чтобы не обратить на себя внимание, а ноги, кажется, сами шли быстрее. Мы только чувствовали, что спасены, а надолго ли, не знали. Шли, иногда оглядывались или смотрели по сторонам, чтобы снова не встретиться с теми, кто вывел нас из музея.

Мы уже подходили к дому по Павловской улице [24], где жил Костя Колосов, друг Аркадия Третьякова, и против калитки на тротуаре была большая лужа крови, впитавшаяся по краям и студенистая еще в середине. Неприятное чувство охватило нас обоих, вспоминался Костя — веселый паренек, вместе с Аркадием как-то залиvisto смеявшийся над чем-то, и только позже мы узнали, что Костю Колосова белые вывели из дома и тут же убили.

Наконец мы пришли ко мне домой. Отец и мать, как сговорившись, бросились ко мне, обнимая, расплакались, не стесняясь, — я первый раз их видела такими, — это были слезы радости после пережитой напряженности. Они целовали нас обоих, нескрываемая радость светилась в их глазах, и тут я поняла, как дорога я была для своих стариков и как они были одиноки без меня.

Нам самим не верилось, что мы дома, такую напряженность нам пришлось пережить и за раненых товарищей, и за погибших, и за самих себя.

Отец рассказал про обыск, который был сегодня утром, а Лиля Пилаина сказала, что, наверное, было бы то же и с нами, что и с Костей Колосовым.

Отец спохватился, после волнения и радостной встречи вспомнив, что нужно накормить девушек. Отец и мать во время обеда старались шутить, подавая нам пример, чтобы мы не впадали в уныние.

Лиля Пилаина пошла домой. Я оставляла ее у себя, ведь ее никто дома не ждал, а в последнее время мы сутками не были дома, а все равно хотелось быть у себя и отдохнуть, освежившись водой, во всем чистом и своей постели.

Проводив подругу, я, после купания, еле добралась до кровати, успокоенная тем, что я дома, вместе со своими убеленными сединой стариками. Мозг тоже, кажется, не хотел ничего думать, и я крепко уснула, организм поборол после стольких бессонных ночей за все последнее время.

Я не слышала, как приходил доктор Шутской Иван Михайлович, и, приподняв мою голову, он вынул вторую подушку, так как мне неудобно было лежать, рассказывала потом мне мать, а я тогда спала и ничего не слышала.

Отец извинился за разбитые ящики с медикаментами во время обыска сегодня утром, а доктор только говорил: «Хорошо, что Женя спасена!» Они с женой Марией Павловной «тоже за нее беспокоились, а насчет ящиков, мол, не переживайте, самое главное — спасибо тому человеку, кто спас девушек, большое спасибо!» Отец и мать за эти слова Шутского и его радость за их дочь были благодарны доктору.

Дня через два мать послала меня на рынок, отец тоже собрался со мной, не решился одну отпустить, и когда мы с ним только прошли Петропавловский Собор, поравнявшись с Городской управой [25], где на крыльце стоял чиновник, тот закричал: «А...а! Советские служащие все еще ходят, на веревочку их!» Затем он вложил пальцы в рот и сильно свистнул.

Мы хотели только перейти дорогу, не обращая внимания на все происходившее, но два конных белогвардейца перекрыли нам путь, сказали мне, чтобы я зашла между коней, оттесняя меня от отца.

Отец протянул руки за мной, но плеть больно задела его пальцы и поясницу, а мне пришлось зайти, чтобы не быть смятой конями. Когда я обернулась, отец одной рукой вытирал глаза, а второй держался за поясницу.

Жаль было отца, в душе было негодование, сердце билось от злости. Меня повели по направлению к музею. Мысли в голове путались. Опять! Что же делать? Я взглянула на верховых, одного я совсем не знала, а во втором узнала Василия Кирмилевича, с которым встречалась на школьных вечерах. В мыслях было — кто же ударил отца? У них обоих были плетки.

Но вот меня доводят до угла и у бывшего Совдепа останавливаются. Я поняла, что мне нужно заходить в помещение, чему

сиюминутно обрадовалась, в голове сразу мелькнул план, что делать. Незнакомый верховой только спустил из стремени ногу, а я уже зашла на крыльцо, скрылась в дверях. В окно я увидела, что он снова сел на коня и они поехали в обратную сторону. В углу стояли белогвардейцы, о чем-то спорили, на окне стояла кружка. Я взяла ее, будто напиться, налила воды в нее из бака, но не помню, пила я или нет, только поставила кружку и через дверь, ведущую во двор, вышла. Сначала думала пройти через музей, догнать и успокоить отца, но долго думать было нельзя.

Я повернула влево и через Пушкинскую улицу пошла по Конюшенному переулку домой как будто ни в чем не бывало, а сердце билось, хотелось скрыться скорее домой от взглядов людей.

Когда я пришла, отца еще не было дома, рассказала матери все, что до рынка не дошли, она с волнением слушала меня, беспокоясь теперь за отца. Вскоре пришел отец, жалуясь, что он не мог уберечь меня, не смог, стегнули проклятые варнаки. Но мать успокоила его, сказала, что я дома.

На следующий день, утром, в 8 часов, раздался сильный стук в двери, пришел с винтовкой конвоир, сказал мне, чтобы я сейчас же следовала за ним. Зачем? Куда? Ни слова...

Когда я вышла за дверь, конвоир следовал за мной. Также следом за мной пошел и отец, но охранник сердито сказал: «А тебе, старик, нечего ходить, а то уложу обоих и вся недолга». Отец остался у ворот.

Мы дошли до Конюшенного переулка, и на повороте я взглянула назад. Отец медленно все-таки продвигался вперед, но был на большом расстоянии.

Меня привели в здание бывшего Совдепа, где уж были приведены и сидели наши сотрудники: Лиля Пилаина, Гантемирова Зинаида Александровна и ее муж Виктор Петрович.

Тут же стали приводить рабочих из типографии большевистской газеты «Голос труда» и других учреждений, которых я не знала.

Все сначала молчали, потом потихоньку разговаривали, все ожидали своей участи, чем все закончится.

Наконец, пришли какие-то представители и сказали: «Кто хочет работать — оставайтесь, кто не хочет — собирайтесь в тюрьму».



Тишина, молчание, мысли бегали в голове, обгоня одна другую. Все бывшие рабочие типографии большевистской газеты как один остались работать, зная, что в тылу врага они могут многое сделать, если поглубже уйти в подполье. Глядя на них, почти все согласились работать на белых. Нас все-таки продержали до вечера, а затем под переключку отпустили по домам с тем, чтобы завтра явились на работу, предупредив о том, что больше ни за кем посылать не будут, а сразу будут брать в тюрьму.

На следующий день, 19 июня 1918 г., я пришла на работу к белым в здание бывшего Совдепа. Меня направили работать в бухгалтерию, затем прикрепили еще отделы — Земельный и Ветеринарный, что впоследствии помогло для деловой переписки с товарищами.

Нас, бывших работников Совдепа, распределили так, чтобы мы были в разных учреждениях и не могли разговаривать, собираться, советоваться, хотя это нас не особенно смущало. Надо мной посмеивались некоторые новые работники, сторонники белых, взяв напечатанную мной работу, бумаги вертели, смотрели с разных сторон, и я не знала, почему они смеются.

Как-то раз я спросила: «Что вы смеетесь, в чем дело?» Конечно, не без издевки они мне ответили: «Смотрим, не покраснели ли бумаги от Вас!»

Я ничего не ответила на это, только сердито посмотрела на них. Но через некоторое время некоторые мои бумаги действительно начали «краснеть». Я начала подпольную работу на рабочем месте, хотя мне не разрешали оставаться и сверхурочно работать.

Однажды пришел человек, попросил разрешения перепечатать ведомость, ему разрешили. Он подождал, пока я закончила, вынула из машинки предыдущую работу и отнесла ее.

Вернувшись, я взяла ведомость у него, посмотреть, какие графы, развернула, а там лежала небольшая бумажка — большевистская листовка, на углу которой было написано: «Напечатать 15 штук».

Я взглянула на этого человека, увидела его прищуренный взгляд, поняла важность работы.

Я заложила ведомость в развернутый лист бумаги, 5 экземпляров, начала графить машинкой и делать колонки, а ниже

на обеих сторонах, перемеживая с графлением, уже печатала текст листовки. В листовке было написано о создании в Барнауле подпольной большевистской организации и обращение к рабочим, чтобы товарищи не падали духом, сплачивались, накапливали силы для дальнейшей вооруженной борьбы. Текст листовки говорил о подпольном продолжении борьбы за власть Советов в Барнауле.

Вместо 15 листовок, я напечатала их 30 штук. Мне легко стало на душе, когда ведомость с вложенными листовками была вручена мной владельцу, за доверие подпольщиков ко мне.

Таким образом, мои бумаги затем «краснели» все более и более в самом Управлении Алтайской губернии, в самом логове белых. Также я смогла затем доставать в Управлении незаполненные бланки удостоверений, пропусков, ставить на них печати, по которым товарищи из подполья могли жить, работать или проходить на то или иное совещание к «господам», чтобы быть в курсе их дел.

Но потом я заболела малярией. Малярийные комары, разносчики болезни, появились в барнаульском заводском пруду [26] и многих людей заразили. Я тогда не ходила на работу, но продолжала писать от руки для подпольщиков листовки. Меня также включили в подпольную «пятерку», где была строгая конспирация на случай провала и ареста белогвардейской контрразведкой, штаб которой был в бывшем особняке купца Платонова, на ул. Пушкина [27]. В подпольной работе мы знали друг друга только в лицо и по именам.

Моими связными, которые забирали у меня переписанные листовки, были первый Коля, второй Ленья, их фамилий я не знала. Таким образом, наша «пятерка» работала, не зная друг друга, зато дело двигалось вперед, а чтобы не быть замеченной и пойманной барнаульской контрразведкой белых, руководство подполья передало мне, что я должна была уволиться из Управления губернии под предлогом моей болезни малярией. Как раз я опять заболела, пошло осложнение из-за малярии, что, в конечном счете, превратило меня в инвалида. Но весь 1919 г. я продолжала помогать подпольщикам, переписывала листовки дома, от руки, и, как обычно, вместо 15 штук писала 50 и более. А по ночам

ребята-подпольщики расклеивали размноженные мной листовки на заборах Барнаула, чтобы утром горожане узнали правду о приближающейся к нам Красной Армии, правду, которую колчаковцы тщательно скрывали от народа. И вот 10 декабря 1919 г. мы дождались в Барнауле своих, красных. Сначала в город пришли партизаны армии Мамонтова [28], а через несколько дней пришли регулярные войска Красной Армии. Советская власть была восстановлена. Жизнь продолжалась и преподносила новые трудности. В 1920 г. умер отец от желтухи, также переболел до этого малярией, как и я. После смерти отца мы с мамой переехали на 8-ю Алтайскую, дом 30 [29], куда позже я привезла троих сирот-родственников, ставших мне приемными детьми. Они жили в селе Андроновое Баевского района Каменского уезда. Узнав, что их отец был коммунистом, приехавшие в село каратели-анненковцы [30] летом 1919 г. отпороли его плетьюми, 25 ударов. После чего он сильно болел и от полученных увечий в 1921 г. умер, скоро после смерти своей жены от тифа. Дети остались одни. Мне с матерью сообщили об этом, и я забрала к себе трех его детей-сирот: 10 лет, 8 лет и 1 год 2 месяца. А в 1928 г. я сама уже была инвалидом, так как малярия дала последствия и на сердце, и на суставы.

С тех пор, с 1917 г., прошло полвека, а кажется — было недавно. Все образы моих товарищей, как при моей работе в барнаульском Совдепе, так и позднее, подпольщиков, встают передо мной. Они как живые видятся мне, с их добрыми, хорошими, чистыми улыбками, без лицемерия, и серьезно-сосредоточенными лицами во время работы.

А для меня работа в Совдепе, работа медсестрой в перевязочном пункте — Краеведческом музее — перенос раненых под пулями во время барнаульских сражений в июне 1918 г., когда моя жизнь висела на волоске, чудом избежав расстрела с другими товарищами в нагорном кладбище возле церкви, наложили с тех дней свою отметину — седые пряди волос.

И этот «документ» я ношу с тех пор всю свою жизнь до сих пор.

*Подготовил к печати: Владимир Терёшкин.*

## Примечания

1. Александринское училище — начальное учебное заведение, также носило название 5-го женского городского училища. Располагалось в городском доме на углу Острожного переуллка и Петропавловской улицы (в воспоминаниях ошибочно названа Павловской), сейчас это перекресток проспекта Комсомольского и улицы Ползунова.
2. Ярков Михаил Александрович (1886-1975) — революционер, большевик, организатор первых профсоюзов на Алтае, после Гражданской войны — советский работник.
3. Соборный переулок — Социалистический проспект. Коношенный переулок — Красноармейский проспект.
4. Школа в Заячьем поселке — Зайчанская школа Общества попечения о начальном образовании, создана в 1891 г. В. К. Штильке, с 1896 г. располагалась в здании на углу пер. Челюскинцев и ул. Анатолия.
5. Народный дом — центр общественной и культурной жизни Барнаула в начале XX в., располагался в здании на ул. Ползунова, 35 (ныне его занимает филармония).
6. Алтайский губернский комиссариат занимал здание бывшего Главного управления Алтайского округа на пр-те Красноармейском, 4 (ныне там магазин «Мария-Ра»). После установления советской власти там расположился Губернский Совет рабочих и солдатских депутатов (Совдеп).
7. Карев Семен Петрович (1885-1918) — рабочий-революционер, секретарь Алтайского губисполкома, погиб от рук белых в сентябре 1918 г.
8. В декабре 1917 г. городская телефонная станция находилась в каменном павильоне на Демидовской площади (позже снесен). Госбанк занимал здание на углу ул. Пушкина и Социалистического проспекта (позже краевая поликлиника), казначейство находилось на ул. Ползунова (сейчас детский сад № 76), почтово-телеграфная контора располагалась в кирпичном здании на ул. Интернациональной, 74, тюрьма была на Сибирском проспекте (сейчас от нее осталось одно здание по Сибирскому проспекту, 36).
9. В Барнауле с 1915 г. существовал концентрационный лагерь для военнопленных Первой мировой войны, преимущественно — солдат австро-венгерской армии. Окончательно был ликвидирован в 1920-е гг.
10. Ново-Николаевск в 1925 г. переименован в Новосибирск.
11. Бердана 12 калибра — переделанное в России ружье Бердана № 2 образца 1870 г. Смит-Вессон — американский пистолет.

12. Ныне это основное здание Алтайского государственного краеведческого музея по ул. Ползунова, 46.
13. Здание Военного лазарета располагалось на углу Социалистического проспекта и ул. Никитина (Бийской).
14. Ныне это территория бывшей Барнаульской спичечной фабрики по ул. Ползунова, 37.
15. Мужская гимназия занимала здание по пр-ту Красноармейскому, 19, Реальное училище — по пр-ту Красноармейскому, 21. Сейчас оба эти здания входят в ансамбль Демидовской площади и принадлежат Аграрному университету.
16. Булыгинской заимкой раньше называли пос. Кирова: район улиц Кутузова, Краевой, Боровой и других.
17. Ныне Нагорный парк.
18. Германской войной в то время называли Первую мировую войну.
19. Имеется в виду Петропавловский кафедральный собор — главный храм Барнаула, находился на пл. Свободы, разрушен в 1935 г.
20. Имеются в виду Нагорное кладбище (Нагорный парк) и Крестовоздвиженское кладбище (теперь парк «Изумрудный»).
21. Этот дом располагался примерно на месте нынешнего нового здания по ул. Анатолия, 117.
22. Косой взвоз — пер. Федора Колядо.
23. Имеется в виду кладбищенская церковь Иоанна Предтечи, располагалась возле склона, у нынешнего входа в Нагорный парк со стороны проспекта Социалистического.
24. Павловская улица — ул. Анатолия.
25. Городская управа занимала здание по пр-ту Ленина, 4. Сейчас там находится муниципальный музей «Город».
26. Барнаульский заводский пруд — искусственный водоем, созданный плотиной на р. Барнаулке в XVIII веке для обеспечения энергией сереброплавильного завода. Из-за загрязнения воды был спущен в 1926 г.
27. Сейчас в этом здании находится краевой военный комиссариат (ул. Пушкина, 40).
28. Ефим Мефодьевич Мамонтов (1889-1922) — герой Гражданской войны, командующий Партизанской крестьянской Красной Армией Алтая, изгнавшей колчаковцев из региона в конце 1919 г.
29. 8-я Алтайская — ул. Шевченко. Указанный дом находился примерно в районе автоцентра по ул. Шевченко, 93.
30. Анненковцы — члены карательного казачьего отряда под общим командованием атамана Б. В. Анненкова, действовавшего на Алтае в 1918-1919 гг.

## Научный комментарий

«Воспоминания» Е. Кондратьевой в основном повествуют о Гражданской войне на Алтае. Относятся к группе источников личного происхождения, к т. н. меморатам. Автор воспоминания — непосредственный свидетель и участник событий Гражданской войны, в частности — в городе Барнауле. Будучи активным сторонником советской власти, в своих воспоминаниях Кондратьева представила точку зрения на эти события только одной из противоборствующих сторон — красных. Также нужно учесть, что воспоминания были записаны почти через 50 лет после описываемых событий, поэтому часть сведений автор могла почерпнуть из позднейших источников, ненамеренно выдавая их за свои. В тексте присутствуют неточности в описании местонахождения некоторых городских объектов, что также можно объяснить абберрациями памяти. Поэтому безоговорочно верить Кондратьевой во всем, что она рассказала, было бы ошибкой. В то же время масса конкретных сведений, мелких деталей, подтверждаемых другими синхронными свидетельствами, позволяет нам уверенно говорить, что в основном Кондратьева верно отразила действительность.

Особое значение имеет здесь то, что автор воспоминаний — женщина. Абсолютное большинство участников Гражданской войны, оставивших о ней воспоминания, были мужчинами. Это объясняется тем, что женщины тогда еще редко принимали участие в общественной жизни и уж тем более — в боевых действиях. Именно поэтому воспоминания Кондратьевой — это уникальный женский взгляд, причем не с позиции матери бойца или домохозяйки, а с позиции активного борца в составе одного из противоборствующих лагерей.

Воспоминания Кондратьевой должны стать неотъемлемой частью корпуса источников личного происхождения по истории Гражданской войны на Алтае.

*Справочный аппарат и научный комментарий:*

*Данил Дегтярёв*

Дёмкина Екатерина Викторовна



**Серебристые сумерки. 2007**

Холст, масло. 90x75